

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Вера Панова

СПУТНИКИ
♦
СЕРЕЖА
♦
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Вера Панова

**Спутники. Сережа.
Сентиментальный роман**

«Азбука»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Панова В. Ф.

Спутники. Сережа. Сентиментальный роман / В. Ф. Панова —
«Азбука», 2026 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-34645-1

Вера Панова – советская писательница и драматург, лауреат трех Сталинских премий. Ее книги выдержали десятки переизданий и легли в основу многочисленных театральных постановок и экранизаций. В настоящий сборник включены наиболее известные произведения писательницы, вошедшие в золотой фонд советской классики. Повесть «Спутники» (1946), которая принесла Пановой всесоюзную славу, посвящена военным медикам, перевозившим раненых с фронта в тыловые госпитали в годы Великой Отечественной войны. Повесть дважды экранизировалась. Это любимые всеми фильмы «Поезд милосердия» Искандера Хамраева и «На всю оставшуюся жизнь» Петра Фоменко. Наряду со «Спутниками» в сборник включен «Сентиментальный роман» (1958), а также повести «Ясный берег» (1949) и «Сережа» (1955) – произведения, связанные общими героями и образующие своеобразную дилогию. По повести «Сережа» Георгий Данелия и Игорь Таланкин сняли одноименный фильм, который в 1960 году получил главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах – «Хрустальный глобус». «Вы написали классическую книгу, которая рано или поздно создаст Вам всемирное имя», – после прочтения «Сережи» обращался к Пановой Корней Чуковский, отмечая классическую стройность повести и ту гармонию, которая роднит ее с пушкинской и чеховской прозой.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-34645-1

© ПANOBA B. Ф., 2026

© Aзбука, 2026

Содержание

Спутники	8
Часть первая	8
Глава первая	8
Глава вторая	18
Глава третья	28
Глава четвертая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Вера Федоровна Панова
Спутники. Сережа.
Сентиментальный роман
Повести, роман

© В. Ф. Панова (наследники), 2026

© Оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



Вера Панова

СПУТНИКИ
♦
СЕРЕЖА
♦
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН



Санкт-Петербург

Спутники

Часть первая Ночь

Глава первая Данилов

Не спалось. Данилов встал. Отдернул плотную занавеску и опустил окно. Тяжелая рама бесшумно скользнула вниз. Все в этом поезде было добротное, хорошо пригнанное, долговечное. Приятно взяться за любую вещь.

Ветер влетел в окно. Небо и поля были пепельно-светлые, без красок. Белая ночь. Очень тихо.

Лето в этом году пришло поздно и не было похоже ни на одно другое лето. Днем солнце палило, как на юге, а ночи были холодные. Данилов озяб, стоя у окна. Может быть, он стоял очень долго? Он не знал, долго или нет.

Он надел галифе и сапоги. Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковровые туфли. Прекрасный был бы вид: галифе с дудками до щиколоток и ковровые туфли. Интересно, мужа своего она одела бы так?

Он не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку и аккуратно затянул скрипучий холодный ремень. И взял фуражку.

Кто-то должен подавать пример команде, черт бы побрал начальника.

В коридоре штабного вагона пепельно светились широкие окна. Пусто. Тихо, по-ночному сиротливо. Небо и поля плыли назад, светлые, без красок. Спит ли начальник? Данилов отодвинул бесшумную дверь купе, взглянул: начальник спал полураздетый, в брючках, в носках, по-детски поджав короткие ножки. Руки его были сложены ладонями и прижаты к подбородку, как будто начальник молился.

Рядом отворилось купе. Ординатор Супругов вышел в коридор, на нем был синий госпитальный халат и ковровые туфли.

– Вы тоже не спите, Иван Егорыч?

– Нет, я спал.

Он солгал, потому что ему не хотелось ни в чем походить на Супругова. Если Супругов не спит, значит он, Данилов, должен спать. И наоборот.

– Я уже выспался. А вы?

– Мне, знаете, что-то не спится. Непривычная обстановка, должно быть, действует.

– Почему же непривычная? Едем в поезде, и все.

– Да куда едем? – хихикнул Супругов. Отвратительная у него эта манера – хихикать. Хорошие люди улыбаются или смеются громко.

– К фронту едем, товарищ военврач.

С высоты своего прекрасного роста Данилов рассматривал Супругова. Дрейфишь, дрейфишь, доктор. Это тебе не в кабинете пациентов принимать: «Вздохните глубже. Вздохните еще раз...»

– Можем попасть в переплет, как вы думаете?

– Что же, мы лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в переплет.

Супругов поднял робкие глаза. Золотой зуб Данилова блеснул в пепельном свете ночи. Супругов сделал строгое лицо.

– Я не понимаю, – заговорил он другим тоном, быстро и раздраженно. – Такой поезд пускать на фронт – это вредительство. Фаина говорит, от первого разрыва все окна вылетят.

– Какая Фаина?

– Старшая сестра.

– Ее зовут Фаина? – Забытый запах исходит от этого имени, запах мокрых, тяжелых и нежных женских волос. Фу-ты, нашел что вспоминать. Это было почти четверть века назад. Да, двадцать два года. У старшей сестры волосы стриженные и завитые бараном. Туда же – Фаина.

– Это определенно вредительство, – сказал Супругов и сокрушенно закурил.

– Что вы предлагаете? – Скулы Данилова дрогнули. Если бы Супругов всмотрелся, он увидел бы ярость в его светлых глазах. Но Супругов был занят папиросой, которая почему-то потухла, – должно быть, гильза была рваная.

– Повернете стоп-кран? Пошлете молнию наркомун: «Заступитесь за вагоны, их гонят под бомбы»?

Супругов понял, что над ним издеваются. Он ужасно обиделся. В конце концов, он не санитар, он военный врач.

– Я ничего не предлагаю. Но я могу иметь свое мнение. Я так же, как и вы, еду на верную гибель.

– Вы думаете?.. Ну что же, пока мы еще не погибли, я, с вашего разрешения, схожу проверить команду и посты.

Посасывая папиросу, которая опять потухла, Супругов смотрел Данилову вслед. Молодцеватая у комиссара выправка. Супругову стало неловко за свой халат. Он сам виноват, конечно. Не надо набиваться на частные разговоры. С Фаиной, вообще с девушками, еще туда-сюда. Но с комиссаром – ни в коем случае. С таким надо держать ухо востро.

В команде были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно. Быстро обжили вагончик. У девушек над полками висели зеркальца, куколки и карточки милых. Не завели бы клопов за карточками милых. Придется проследить.

С краю внизу спала Лена Огородникова, смешная маленькая женщина, похожая на мальчишку, который помалкивает, а про себя затевает какое-то озорство. У нее и во сне было такое лицо, словно ее смешили. Зеркальце в форме палитры поблескивало у нее над изголовьем. Мальчишка, значит, тоже смотрится в зеркало. Против Лены, разметава могучие руки, бурно дышала и всхрапывала Ия – дадут же любящие родители такое имя дочери. Молодцы девушки – все как одна в мужских трикотажных рубашках или майках; в женской сорочке ни одной. Третьего дня он застал Ию спящей с оголенными плечами: растолкал и дал внеочередной наряд. Что за распушенность. Девушка должна быть стыдливой.

Вагоны были готовы к приему раненых. Койки с синими байковыми одеялами щеголевато заправлены. На несмятых подушках – полотенца, сложенные треугольником.

Пахло серой, щелоком, лаком и тем неуловимым, безыменным запахом, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ни окраской, ни дезинфекцией.

Эти обыкновенные «жесткие» вагоны предназначались для легкораненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой, с огоньком папиросы во рту.

Курить в вагонах запрещено; но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек – не машина. Поезд шел к фронту, как знамя он нес свои красные кресты. Никто в поезде не надеялся, что эти кресты послужат им защитой. Каждый знал, что именно по красным крестам и будет бить враг.

В девятом вагоне дежурил Сухоедов, низкорослый человек с квадратными плечами и большой головой без шеи. Он был старше всех в поезде, кроме начальника. Данилов знал, что Сухоедов в свое время бил Юденича, в финскую кампанию пошел на фронт добровольцем и был ранен. 22 июня, в день объявления войны, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы его направили в действующую армию. Ни по годам, ни по здоровью он не подходил для строевой службы. Его послали в санитарный поезд. Вид у него был горько обиженный, словно его обошли наградой. В мирное время он работал на подмосковной шахте. В морщины его лица въелась угольная пыль. Детски лазоревыми казались на этом лице ясные голубые глаза.

Сухоедов стоял у окна и не пошел навстречу Данилову, только на секунду повернул голову и поманил пальцем. Данилов подошел. Вид у Сухоедова был необычный. Ни обиды, ни горечи. Вид охотника, идущего по следу зверя.

– Вот он где, видишь ты? – тихо спросил он.

На горизонте, за низкой темной полоской далекого леса, шевелился какой-то свет. И вдруг шагнул в небо луч прожектора и задвигался влево и вправо, неторопливый, беззвучный, неяркий. И другой луч шагнул откуда-то сбоку, лучи скрестились, замерли на мгновение и разошлись, шаря в небе.

– Его ищем! – сказал Сухоедов строго. – Ты ничего не слышишь?

– Ничего не слышу.

Сухоедов помолчал, вслушиваясь.

– Лупит, – сказал он нехотя. – Ох, здорово где-то лупит... – И, вытащив из кармана кисет, стал скручивать папироску.

– Куришь? – спросил он, протягивая кисет Данилову.

– Нет, не курю.

– Это, между прочим, правильно, – сказал Сухоедов. – От табака нападает по утрам такой кашель – не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: целая громадная забота с плеч – не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишься – конец.

Данилов усмехнулся:

– Тридцать восемь лет прожил – не соблазнился; теперь уж не закурю.

Сухоедов ребячески удивленно поднял брови:

– Да неужели тебе тридцать восемь?

– Тридцать девятый весной пошел.

– Молодо выглядишь, – задумчиво сказал Сухоедов, разглядывая Данилова. – Я бы тебе тридцать дал, ну – тридцать два от силы. Жизнь, что ли, легкая была?

– Легкая или нет – не знаю, – ответил Данилов, – но хорошая была жизнь у меня, я таких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.

Они помолчали. И странно сказал Сухоедов:

– Тебя не убьют.

Лучи за окном опять скрестились, стали неподвижно, косым крестом.

Данилов и сам знал, что его не убьют. Не может его жизнь так вот просто взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено на время. Кончено только с Фаиной. А может, чем черт не шутит, и ее когда-нибудь он еще повстречает. Станет перед ним, выгнув спину, закинув голову, встряхнет тяжелыми мокрыми волосами... «Расчеши их, Ваня», – скажет... Глупости, ребячий вздор, в котором никому нельзя сознаться, даже себе.

За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека. Почему он так назван – неизвестно. Аптека занимала в нем маленькое купе. Остальные помещения были приспособлены под перевязочную, душевую и вентиляционную. В служебном купе стоял письменный стол для медицинского секретаря. Такая должность была в списке персонала. Человека с этим званием в

поезде не было. Данилов не знал, что должен делать медицинский секретарь, и никто не знал; поэтому при укомплектовании штата Данилов попросту никого на эту должность не назначил.

Вагон-аптека был любимым вагоном Данилова. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, линолеум, в герметические двери, в откидные столики и стулья, прилаженные к стенам. Чистота и удобство были страстью Данилова. Он относился к любимому вагону ревниво. Платком тер оконные стекла – нет ли пыли. Аптекарьша в первый же день ухитрилась пролить йод на голубовато-белый, только что выкрашенный стол. Данилов, увидев пятно, побледнел от огорчения. Клава Мухина, санитарка, сбивалась с ног, поддерживая эту невозможную стерильную чистоту, которой требовал комиссар.

И сейчас Клава была в душевой. Стоя у стола, низко наклонив темно-рыжую голову в чалме из марли, она собирала в оборку бинт. Окна были занавешены, горела лампочка.

– Что вы делаете? – спросил Данилов.

Она повернула к нему белое, в крупных веснушках, доброе и сонное лицо.

– Абажур, – сказала она с усталым вздохом.

– Еще один? На лампочку?

– Нет. На точку.

– На какую точку?

– Душевую.

Она была сонная и объясняла невнятно, но он понял, и ему понравилась затея.

– Ага! – сказал он. – Когда душевые точки не действуют, на них надевают абажуры, чтоб было красиво, так?

– Да, – ответила она, – только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или розовый.

– Да, конечно, шелк лучше, – усмехнулся он. – Но шелка, Клава, нет. А бинт можно покрасить синькой – будет голубой.

– А то еще, знаете, если бы красные чернила, – сказала Клава и доверчиво посмотрела ему в лицо. – Развести водой – будет розовая краска.

– Купим красных чернил, – обещал Данилов. – До первого магазина доберемся – сейчас же купим.

Рыжая девочка развеселила его. Он шел гремучими переходами и улыбался.

Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких перегородок, просторно, как в палате. Белая краска. Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Висячие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался госпиталь. Почему-то хотелось поскорее пройти мимо этих подвесных коек с боковыми сетками, как у детских кроватей.

И вот хвостовой вагон-изолятор, простой вагон, в конце которого помещается электростанция. Сюда и направлялся Данилов, здесь была главная цель его обхода, здесь он чуял беду.

Дежурного в изоляторе он не встретил.

Он постоял у двери электростанции: голоса, но ничего не слышно толком, мешает шум колес. В общем, тише, чем он думал.

Он отворил сразу. Никто не испугался, встал только дежурный боец Горемыкин, остальные продолжали сидеть. Кравцов, машинист электростанции, передвинул папиросу в угол рта, шлепнул картой по столу и сказал:

– Бью и наваливаю.

– Врешь, трефы козыри, – сказал вагонный мастер Протасов и тоже положил карту.

Молодой электромонтер Низвецкий вдруг сконфузился и встал.

Эти все, кроме Горемыкина, были специалисты высокой квалификации – самый трудный народ. А Кравцов, кроме того, был вольнонаемный.

– Бутылочек ищите, товарищ комиссар? – сказал Кравцов, наблюдая Данилова. – Не трудитесь, бутылочки – тю-тю!

Он махнул рукой. Веки у него были красные, взгляд мутный.

Данилов сел на табурет и задумался. И специалисты замолчали, глядя на него, лица их стали озабоченными и серьезными. Горемыкин, за спиной Данилова, крадучись, виновато вышел, бережно прикрыл дверь... С Горемыкиным все ясно. С Горемыкиным – известный разговор. И этих трех он, Данилов, мог бы арестовать. Нарезались, сукины дети. Он еще днем, в Вологде, подметил, что они бегали и шушукались... Арестовать недолго. А дальше что?

– Сдай-ка, ну? – сказал Данилов встревоженному и бледному Низвецкому. – В подкидного дурака сдай.

Он сыграл с ними партию вдумчиво и истово, внимательно следя за игрой, приоткрыв маленький высокомерный рот, в котором блестел золотой зуб. Выиграл и встал.

– Вот как играть надо. Довольно или танцы до утра?

Кравцов и Протасов хмуро молчали. Низвецкий сказал неуверенно:

– Да нет, поспать надо.

– Ну, пойдем, – сказал Данилов.

Низвецкий шел за ним по вагонам, тоскливо ожидая разговора. Данилов молчал и не оглядывался. Он отворял двери – Низвецкий закрывал их. Громыхали колеса на переходах. Уже настоящая ночь накрыла мир, небо вывездило, скоро утро.

В вагоне-аптеке Клава, сонно сопя, примеряла на душ абажур из оборочек.

– Смотри, что она придумала, – сказал Данилов Низвецкому. – Уют наводит. Погоди, она тут наделает такое голубое и розовое... Слушай! Я хочу здесь сделать радиоточку. Раненый придет на перевязку, посидит тут, послушает. Займешься?

– Можно, – пробормотал Низвецкий.

Данилов оглядывал его. Интеллигентный вид у парня, одет чисто, видно, что привык носить хорошую одежду.

– Что у тебя? – спросил он. – Почему тебя не взяли в строй?

– Геморрой, – отвечал Низвецкий, густо краснея.

Данилов удивился:

– Смотри, какую нажил стариковскую болезнь! А хотел бы в строй?

– Я шесть лет служил в поезде Москва – Владивосток, – сказал Низвецкий, волнуясь. – Я бы мог продолжать там служить, меня никто не трогал. Я сам попросился в санитарный поезд. Чтобы хоть чем-нибудь...

– А в санитарном поезде, – сказал Данилов, – дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так я тебе скажу: что можно фронтовому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ангелами. Херувимы и серафимы, да. Мы – братья и сестры милосердия... Этой водки, будь она проклята, – сказал он тихо и страстно, сжав кулаки, – не будет в поезде в самое ближайшее время, я тебе ручаюсь.

Еще двух недель не было, как шла война, а казалось, что она длится годы.

Утром 22 июня Данилов проснулся поздно и рассердился на жену: почему не разбудила. Ему хотелось провести этот день с сыном. И чтобы день был большой, чтобы и он, и сын насладились им. А жена пожалела разбудить и сократила праздничный, такой редкий отдых.

Сын влез на кровать, уселся верхом ему на ноги, – плюшевоголовый, в белом костюмчике, в синих носках. Солнце лежало на вымытом желтом полу. Настоящее лето только началось, а уже был загар на щеках и на ножках сына.

– Папа, мы пойдем?

Он обещал сыну прогулку. Обещал рано встать и сразу же идти. Из-за жены он проспал. Мальчишка мучился все утро. Мальчишка усомнился в отце.

– Пойдем, сын, вот только перекусим чего-нибудь и сейчас же пойдем.

– Ой, зачем ты чистишь зубы, – говорил сын, стоя около него, – ведь ты сегодня не пойдешь в трест.

Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород. Второй год он с женой жил в городе, он был директором треста, а жена все не могла привыкнуть покупать овощи в магазине и сажала свои. Для картошки и капусты земли возле дома не хватало, картошку и капусту она сажала где-то за городом. Она ездила туда поездом полоть и поливать. Руки у нее были темные, крестьянские. Данилов говорил:

– Все жадность, готова в могилу себя загнать, лишь бы не переплатить лишнюю копейку.

А она отвечала:

– Как же без своей картошки?

Но в это утро вид зеленых грядок был приятен Данилову. Он ходил между ними и смотрел, как развилась помидорная рассада, скоро ли можно будет рвать салат, а сын сидел на корточках и спрашивал:

– Как ты думаешь, редиска уже есть?

Вот в эту минуту он запомнил себя и сына, как на фотографии: он, Данилов, стоит между грядками, небо солнечное, мирное и радостное, и сын сидит на корточках и спрашивает:

– Как ты думаешь, редиска уже есть?

Это была последняя минута прежней жизни, с сыном, с воскресным отдыхом, с ленивыми мыслями о прогулке и пироге.

На крыльцо выбежала жена:

– Ваня, война!..

Он вбежал в дом. Радио договаривало слова, не оставляющие сомнений. Радио замолчало. Данилов поднял голову. Все стало другим. По-другому светило солнце. Другим стал его дом. Другое лицо было у жены. Та минута покоя и созерцания ушла на годы назад. Все полетело и помчалось куда-то следом за его мыслями.

– Папа, а мы пойдем все-таки? – спросил сын.

Сыну было четыре года.

– Нет, – ответил Данилов, и сын заплакал...

В тот день Данилов разобрал свои бумаги, написал письмо отцу, сходил на почту и отправил старику денег.

Среди старых писем попался измятый конверт, из него торчали уголки фотографической карточки, – он не вынул карточку, бросил, не поглядев, на дно ящика.

Карточки сына он положил в бумажник.

Ночью жена плакала, тихо, чтобы не потревожить его. Он делал вид, что спит.

Она поймала какое-то его движение, приподнялась, сверху взглянула ему в лицо:

– Ведь тебе бронь дадут, Ваня?

Он отвернулся. Вопрос был решен утром, когда говорило радио. Завтра он пойдет в военкомат. А ей – меньше всего дела. Она – десятая спица в колеснице.

Наутро ему принесли повестку. Что ж, тем лучше. Не станут говорить, что он выскакивает. Пошел по мобилизации – и все.

В военкомате Данилова направили к Потапенке. Потапенко был приятель, директор санатория. В военной форме, наголо остриженный и помолодевший, он сидел за пустым столом, кругом толпились штатские люди. И хотя эти люди только что пришли, и хотя все окна были открыты настежь, в комнате уже так накурили, что дышать было нечем.

Потапенко протянул Данилову пухлую теплую руку.

– Эге, пришел. Бронироваться будешь?

– Нет.

– Ладно, обожди, – сказал Потапенко.

Совсем не обязательно было, чтобы Данилов так долго ждал, Потапенко принял раньше даже тех, кто пришел позже, – но Данилов понимал: Потапенко хотел перед ним покрасоваться. Ему было приятно, что вот Данилов еще в штатском и дожидается, а он, Потапенко, уже в

военном и к нему приходят за назначениями и распоряжениями. Бабье, атласно выбритое, с двойным подбородком лицо Потапенки сияло от удовольствия. Он хмурил белесые брови, хотел скрыть сияние – ничего не получалось. Наконец он подозвал Данилова.

– Садись, – сказал Потапенко. – Ты в батальоне служил?

– В батальоне.

– Ладно, – сказал Потапенко, записывая в блокнот. – Пойдешь в санитарный поезд комиссаром. Постой, – сказал он, предупреждая возражения Данилова. – Все знаю, что скажешь. А все-таки пойдешь в санпоезд. Поезд надо формировать. Ты знаешь, как это делается?

– Нет. А ты?

– Я тоже не знаю, – сказал Потапенко. – Не боги жгут горшки, Иван Егорыч.

– Не боги, – согласился Данилов.

– Инструкция есть, вот она. Ты грамотный – прочтешь. Людей бери каких хочешь, ссориться не будем – некогда.

– Кто начальник?

– Начальника еще нет, – отвечал Потапенко. – Будет и начальник, а ты формируй.

– Где поезд? – спросил Данилов.

Потапенко засмеялся.

– Поезда, брат, тоже нет. Поезд – в вагоноремонтном, еще не выпущен. А ты формируй.

– Есть формировать, – сказал Данилов, вставая.

У выхода он столкнулся с председателем месткома Григорьевым. Запыхавшись, Григорьев нес ему броню.

– Вы эту бумажку пришейте куда-нибудь, – сказал Данилов, – а Меркулову (это был его заместитель) скажите, чтоб вечером был в тресте, я приду сдавать ему дела.

Но в этот вечер он не пришел. Только 26-го дождался его Меркулов, уже получивший от наркомата официальное назначение на пост директора треста, на место Данилова.

Все эти три дня Данилов укомплектовывал штат санитарного поезда. Требовалось много народу: врач-ординатор, военфельдшер, перевязочная сестра, старшая сестра, младшие сестры, санитары, бойцы, кочегары, машинист на электростанцию, электромонтер, проводники, вагонные мастера... Не один Данилов бегал по городу в поисках нужных людей – в городе формировали полсотни санитарных поездов, и в каждый были срочно нужны врачи-ординаторы, сестры, санитары, проводники...

На людей у Данилова был свой взгляд, этот взгляд многим казался странным.

Когда перед ним стоял вопрос: кого выбрать – уверенного, развязного городского фельдшера, шутника и здоровяка, или застенчивую, серенькую деревенскую фельдшерицу с двухлетней практикой, с молодым нервным, болезненным лицом, – он не колеблясь выбрал фельдшерицу.

И когда подошла к нему эта страшная, красная, как индеец, горбоносая и подслеповатая Юлия Дмитриевна – перевязочная сестра, – он не испугался, а обрадовался. С первого взгляда он понял: это то, что надо.

Санитаров подбирали из мобилизованных бойцов. Красный Крест присылал девушек, окончивших курсы медицинских сестер.

Он приходил в казармы, где на узелках и чемоданах, как на вокзале, спали люди, и кричал:

– Военфельдшеры – есть? Фармацевты – есть? Кочегары – есть? Товарищи, внимание!! Фармацевты – есть?

И вот к нему подошла маленькая женщина с мальчишеским лицом, задумчиво-плутоватым и смешливым. Голубая майка. Стриженные волосы.

– Вы фармацевт? – спросил Данилов.

– Нет, – отвечала она. – Я учительница физкультуры.

– Физкультуры не надо, – сказал он.

Она засмеялась.

– Я знаю. Я пойду в санитарки.

– Идите вы, – сказал он. – Для этого посильнее нужен народ.

Она опять засмеялась, живо нагнулась, подхватила его под коленки, и он почувствовал, что его подняли над полом. На секунду, но все же подняли.

– Здорово! – сказал он. – Что здорово, то здорово.

Она стояла прямо, дыхание у нее было легкое.

– Как зовут? – спросил он.

– Лена Огородникова.

Труднее всего было получить работников технических специальностей. Электромашинистов и монтеров забирали из-под носа у Данилова. Транспорт не хотел отдавать ремонтных рабочих. «Обойдетесь и так, – говорили Данилову, – все равно ремонтироваться приедете к нам».

Сам поезд еще не вышел из ремонтного завода. Ждали начальника поезда, чтобы принял состав. Военврач Супругов, ординатор, отказался взять на себя такую ответственность.

– Я маленький работник, товарищи, – сказал он.

Был он вежлив, смеялся всякой шутке, навязчиво угощал папиросами. Чувствовалось в нем беспокойство – видно было, что душа в этом щуплом штатском теле тоскует, не находит себе места.

Обедать и ночевать Данилов ходил домой. Жена встречала его с молчаливой растерянностью. Ему не хотелось ни о чем ей рассказывать. Она видела, что он уже без остатка принадлежит новому своему делу. Так было с совхозом, потом с трестом. Теперь с санитарным поездом. Эта душа никогда не жила дома. Дома для нее существовал только сын. Жена молча подавала Данилову еду, стелила постель. Лицо ее за эти три дня осунулось, стало некрасивым. По ночам она не выдерживала, начинала шептать:

– Меркулову дали бронь, главному бухгалтеру дали, даже Григорьеву – и тому дали...

– Ну? – спрашивал он с притворным хладнокровием, подавляя злость. – Ну, дали, и прекрасно, и что дальше?

– Тебе никого не жалко. Ни меня, ни Ванюшки, никого.

Он отворачивался.

– Довольно, я спать хочу.

Он почти не вспоминал о тресте, захваченный новой работой. 26-го выдались часа два свободных, он пошел сдавать дела Меркулову. Завернул в знакомый переулок. Увидел черную доску с золотой надписью: «Республиканский трест молочных совхозов». Правый нижний угол доски был надтреснут, он был надтреснут еще тогда, когда Данилов пришел сюда принимать дела. Знакомая лестница, шелкают счеты в бухгалтерии, трещит арифмометр. Дверь налево, обитая черной клеенкой... Его дверь. Его трест.

Передав Меркулову дела, он обошел комнаты и попрощался со всеми. Старуха-кассирша заплакала. Ему было приятно, что она плачет. Сморкаясь, она сказала:

– А у нас-то машину забрали, вы слышали? Меркулов завтра выезжает в район поездом, можете себе представить?

Все были огорчены его отъездом, кроме Меркулова. Данилов заметил, что Меркулов рад. Конечно, он рад не тому, что сидит в директорском кресле; не такой это человек. Просто дорвался до самостоятельной деятельности, почувствовал свободу... Неужели он, Данилов, мешал ему?

Из треста Данилов пошел к Потапенке. Около Потапенки стоял старичок лет шестидесяти, что-то, жестикулируя, рассказывал. Увидев Данилова, Потапенко сказал:

– Вот, знакомьтесь с вашим начальником поезда. Доктор Белов.

Данилов взглянул на начальника: плохонький! Росту невидного, личико худое. Начальник еще не успел переодеться в военное: брючки, ботиночки, ай-ай-ай! Что с ним, таким, делать?

Вслух Данилов сказал, ободряя старичка:

– Ничего, товарищ начальник, сработаемся!

У начальника с собой был маленький чемоданчик, к чемоданчику привязаны валенки и чайник. Начальник приехал из Ленинграда.

Неожиданно он сказал бодрым, воинственным даже голосом:

– Ну что ж, знаете, ничего не поделаешь – будем воевать!

– Вместе, – сказал Потапенко и с наслаждением посмотрел на Данилова.

– Вот именно, вместе, – сказал старичок.

Данилов позвал его к себе ночевать. Начальник бежал резво, размахивая резиновым плащом, который он нес на молодецки выгнутой руке. Чемодан его, со всеми приложениями, нес Данилов.

– Зачем вы валенки привезли? – спросил он. – Что же вы думаете, нам в армии не выдадут валенок?

– А я, видите ли, никогда не служил, – отвечал начальник, – а показания, знаете, очень противоречивы. Кто говорит – выдадут, кто – не выдадут. А одна дама, знаете, сказала, что валенок не хватит на такую армию; и кому же тогда в первую очередь дадут? Не санитарам, ясное дело. И жена уложила... На всякий случай, а? Будут, знаете, стоять где-нибудь под лавкой, не помешают, а?

– Это конечно, – улыбнулся Данилов.

За ужином начальник с аппетитом кушал, пил и щебетал об архитектуре Ленинграда, а Данилов смотрел на него и думал: «Что мы будем делать с тобой?»

На другой день с утра он пошел договариваться с электромашинистом – остальные работники были уже набраны, а начальник отправился на вагоноремонтный завод принимать состав. Предварительно звонили по телефону на завод, в эвакуопункт и на вокзал, и начальник самодовольно сказал Данилову:

– Вы меня найдете на вокзале вместе с поездом.

Данилов пошел на машиностроительный. Накануне он уговорился с директором, что тот отпустит машиниста Кравцова, если сам Кравцов выразит желание служить в санитарном поезде.

Данилов понимал, почему директор так расщедрился. Просто он не прочь освободиться от Кравцова под благовидным предлогом, без скандала. Очевидно, с Кравцовым не все в порядке. Данилов наводил справку в профсоюзе. Там отвечали уклончиво: машинист высокой квалификации, достоин всяких похвал, а так – какой же человек без греха?..

– Он что, выпивает? – спросил Данилов.

– С кем не бывает! – ответили ему.

У дизеля находился помощник; Кравцов завтракал. Он сидел на опрокинутом ящике с бутылкой молока в руке. У него было сухое, изможденное и строгое лицо угодника. Горячий ветер, поднятый дизелем, развеивал седой хохолок над его лбом.

– Ну как? – спросил Данилов. – Согласны в санитарный поезд?

Кравцов поставил бутылку на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. Неподкупно-суровым взглядом он рассматривал Данилова.

– В поезд? – переспросил Кравцов. – Я – хоть под поезд! Выручайте меня отсюда, я тут ни одного дня не желаю быть.

– Что так? – спросил Данилов ласково. – Не поладили?

– Знаете что, товарищ комиссар, – сказал Кравцов, – давайте играть в светлую. Я не мальчик. Это понятно?

– Вполне, – сказал Данилов.

– Я обучил всех дизельщиков, сколько их ни есть в городе. Мне этого не надо, чтобы комсомолцы делали мне замечания.

Он встал и вложил маленькие замасленные руки в карманы широких замасленных штанов.

– В стенгазете – Кравцов. На собраниях – Кравцов. Выговор в приказе – Кравцову. Мне самокритики этой не надо. Я вам заявляю откровенно. Орут, что я в пьяном виде попаду под колесо. Я – под колесо! – Кравцов усмехнулся, как Мефистофель. – А спросите у них: была у нас хоть одна, хоть пустяковая авария с энергией?.. Вот сейчас как, по-вашему: я выпивши?

– Немножко, – осторожно сказал Данилов.

Кравцов покачал головой.

– Нет, не немножко, а в самую меру, по утреннему времени. И вот – будет перерыв, и они придут меня нюхать и делать свои замечания. Забирайте меня, товарищ комиссар, к чертовой матери, если, конечно, вас устраивают мои условия.

Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кравцова был холодно-самоуверенный, и взгляд Данилова был холодно-самоуверенный.

– Я вас забираю, – сказал Данилов.

Закончив дело с Кравцовым, он поехал на вокзал. На дальних путях, около какого-то длинного серого забора, стоял новенький блестящий состав: пятнадцать темно-зеленых вагонов с красными крестами, один товарный и маленький желтый вагон-ледник. Стояла охрана – красноармеец с винтовкой.

Начальник был в штабном вагоне. Он ходил по коридору и гремел ключами. Полупудовая связка ключей висела на его согнутом локте. Солнце било во все окна; пахло нагретой краской. Лицо у начальника было сморщенное, потное и счастливое.

– Вот! – сказал он, показывая Данилову связку. – От всех дверей, от всех сердец.

– Все в порядке? – спросил Данилов.

– Ну а как вы думаете! – сказал начальник. – Там, знаете, целая комиссия была при сдаче.

– И вы все осмотрели?

– Я?.. Да.

Данилов пристально поглядел на него. Начальник опустил голову.

Он не осматривал ничего. Ему дали связку ключей, он расписался в акте, влез в штабной вагон, прицепили паровоз, и начальник поехал, забавляясь мыслью, что он один едет в семнадцати вагонах. Поезд остановился перед серым забором. Паровоз свистнул и ушел, а начальник стал прогуливаться по коридору, нетерпеливо поджидая Данилова. К Данилову он уже чувствовал привязанность.

Данилов сам прошел по составу. В самом деле, все, по-видимому, было в порядке. Так ему казалось, по крайней мере. Кое-что было непонятно. Например, цинковый ящик с двумя отделениями и откидной крышкой в вагоне-кухне. Над ящиком находились краны, полочки и крюки. Данилов долго стоял и размышлял, для чего этот ящик. Позвал на консультацию Соболя, начальника АХЧ. Вдвоем сообразили: конечно, ящик – для мытья посуды.

В поезд начали сходить люди. Поезд заселялся. Подъезжали грузовики с тюфяками, бельем, медикаментами. Данилов вместе с Соболем считал, осматривал, распоряжался – куда что поместить. Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, с алчным видом уносила в вагон-аптеку свертки с бинтами и ватой. Аптекарьша залила йодом столик. И аптекарьша, и Юлия Дмитриевна сразу надели белые халаты и повязали голову белым – и стало казаться, что в вагон-аптеку невозможно войти без халата. Кочегары пробовали отопительные котлы кухни и воровали на станции уголь. Девушки стелили постели, запевали песни и посматривали на Богейчука, красавца-старшину. Начальник АХЧ Соболев с Богейчуком и другими людьми схо-

дил на продовольственный пункт и принял продукты. Лена Огородникова шла впереди всех, маленькая, легкая и прямая, с трехпудовым мешком риса на плече.

Рис, сгущенное молоко, шоколад и масло Данилов велел запереть отдельно. На ужин он приказал сварить для всего личного состава пшеничную кашу.

Санитарный поезд вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции; по полдня простаивал на глухих разъездах. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними, неторопливо и неотвратно.

На станциях ставили его на дальних путях, в стороне от вокзальной суеты. На платформах бегали, прощались, ругались, целовались, плакали, махали платками... И в угрюмом молчании смотрели на него люди, когда он проходил мимо них, нарядный и чистый, со своими красными крестами и белыми занавесками.

В ночь, описанную в начале этой главы, санитарный поезд приближался к Пскову.

Данилов шел через вагон команды, возвращаясь с обхода. Вдруг сильный толчок швырнул его в сторону. Он ударился плечом об угол верхней полки. Заскрежетали колеса. Поезд остановился.

– Что такое? – громко спросил впотьмах женский голос.

– Что такое? – спросил в темноту Данилов, высунувшись с площадки.

Покачивая фонарем, вдоль поезда шел кондуктор.

– Красный огонь, – объяснил он, проходя. – Путь закрыт.

Опять вырвался луч прожектора. Теперь, на фоне настоящей ночи, он был слепяще ярок. Беззвучный, перечеркнул он черное небо и медленно шатался вправо и влево, ища и не находя.

Глава вторая

Лена

За десять месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж.

В пригородном поселке был смотр художественной самодеятельности. Среди певцов, танцоров и декламаторов должны были показать свои успехи и поселковые акробаты. Районный совет физкультуры командировал на смотр Лену.

Коммунхоз снарядил грузовик. Лена села в неуютный пыльный кузов на заднюю скамейку. На боковых скамьях сели незнакомые товарищи из каких-то учреждений.

Незнакомые товарищи были в кожаных пальто и резиновых плащах, с портфелями. А Лена была в голубой майке, которую она ушила в талии, чтобы лучше обрисовывалась фигура. Рукава майки она засучила выше локтя. Теперь ей хотелось опустить их до самых пальцев, но она стеснялась. Она сидела одна, вдали от всех, и ее подбрасывало на каждом ухабе. Стриженные волосы секли ее по лицу.

Мужчины громко разговаривали и смеялись чему-то. На Лену они не обращали внимания.

День был знойный. Из-за горизонта лезла лиловая туча. Она поднялась, прикрыла полнеба и, не удосужившись даже закрыть солнце, разразилась ливнем. Водяная стена упала перед глазами. Голубая майка, юбчонка, стриженные волосы – все промокло вмиг. Ручьи заструились по лицу и по спине Лены. Мужчины укрылись с головою своими пальто и плащами и что-то кричали оттуда. Шофер был невозмутим в своей закрытой кабине. Лена мокла и думала: «Какие они все хамы».

Вдруг один из мужчин встал. Не снимая пальто с головы, пригнувшись, он перешел к Лене и сел рядом.

– Давайте-ка вот так! – сказал он и накрыл ее с головой краем своего кожаного пальто.

Она очутилась с ним вдвоем в тесной палатке. Ей пришлось сжаться, чтобы можно было укрыться хорошенько. Ливень барабанил по пальто.

Ей было так холодно и мокро, что она не чувствовала ни малейшего стеснения. Только сердилась, что помощь пришла так поздно. Когда догадался, дурак.

Ее голова была около его груди. Она смотрела вниз и видела только свои стиснутые мокрые колени под натянутой, тяжелой, как брезент, мокрой юбкой да кусок клетчатой подкладки пальто.

И вдруг она услышала у самого уха медленные громкие удары. Это билось сердце. Его сердце.

Она удивилась, прислушалась. Ей-богу, оно сначала не билось. То есть билось, конечно, но обыкновенно, без стука. А теперь оно билось необыкновенно.

Почему оно так бьется?

Ей страшно захотелось увидеть его лицо. Ведь неизвестно, какой он. Может быть, такой, что пусть лучше сердце не бьется? Нет, какой ни есть, а оно все равно пускай бьется.

Оно билось.

Двумя пальцами, не пошевелившись, она проделала в палатке спереди маленькую щелочку, чтобы было светлее, и, осторожно повернув голову, снизу заглянула ему в лицо.

Лицо было затененное, нахмуренное, встревоженное. Черные глаза смотрели вниз, на Лену.

Она поскорее нагнула опять голову и больше не поднимала ее. Теперь в кожаной палатке стучали уже два сердца.

Закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разряды – в себе и в нем.

Горячий вихрь поднимался в ней – стыд, и радость стыда, и гордость, и удивление, и восторг.

Дождь кончился, и он встал.

– Ну вот, – сказал он, улыбаясь как-то растерянно. – Кажется, подъезжаем... А вы сидите, сидите пока так! – добавил он поспешно и натянул пальто ей на плечо. – Простудитесь...

Но ей было грустно сидеть так одной. Она сбросила пальто и стала отжимать подол юбки. Солнце опять жгло. В грузовике по щиколотку стояла вода. Пахло щедро орошенной землей, мокрой гречихой, мокрой пылью, – чудесный был воздух. И лицо у него чудесное. А чудеснее всего был дождь, только зачем он так скоро перестал: шел бы себе и шел.

Приехали. И, ничего не видя, кроме того, что было в ней, забыв о смотре, об акробатах, о том, что она вся мокрая, она сошла с грузовика.

До сих пор Лена не любила никого на свете.

Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у нее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валею. В детском доме было шесть Валентин; для отличия ее стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену.

Она не любила вспоминать. Когда ей было лет шесть, ей удаляли аппендикс. Она лежала в городской больнице, в детской палате. После наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной, некому было стереть эту слюну с ее губ, а позвать она не могла. Около других детей сидели матери, пришедшие их проведать. Лену положили за ширму. «Не ори, никакой тут боли нет!» – сказала толстая нянька, когда Лена застонала. Лена перестала стонать. Кто-то за ширмой спросил:

– Это чей тут у вас ребенок?

Сиделка отвечала:

– Ничей, это детдомовский.

У матери было плохо. Мать любила выпить: чуть заводились деньги – появлялись водка и огурцы, и какие-то женщины пили, пели, хохотали и давали матери советы:

– А ты на него в центр подай, на подлеца. Ежели он такой подлец, надо в центр подавать, и только.

Подлеца Лена раза два видела. Мать умывала ее, одевала почище и вела на базар к какой-то нэпманской лавочке. Около лавочки, прямо на улице, стояла большая жаровня; в ней, вкусно скворча, жарилась баранина, нанизанная кусочками на деревянные палочки. В лавочке был стол, на нем – солонка, перечница в виде бочонка и тарелка с нарезанным зеленым луком. Подлец был хозяин всего этого. Он сам резал мясо, жарил его и подметал пол. Лена и мать садились к столу и ели баранину, снимая пальцами кусочки с палочки. Жир тек по Лениным рукам до локтей, оставляя кривые дорожки. Хозяин подсаживался, утирал пот с лица грязным фартуком.

– Ешь, – говорил он Лене, вздыхая. – Ешь, вот эта помягче будет, – и, выбрав на ощупь, подкладывал ей новую палочку. Он был немолод, с желто-серыми усами, одна нога у него была деревянная.

Мать, вся в жире, как в слезах, говорила:

– Живо-жаль смотреть, одни дети чистые ходят, а другая – осень и зиму без башмаков, а чем она хуже?

– Вы ешьте, вот эта помягче будет, – бормотал хозяин, подкладывая ей в тарелку. – А что я сделаю, если у меня полон дом народу? Еще падчерица с детьми приехала гостить, и налог прислали такой, что прямо удивительно, из чего платить, из каких доходов... Баранина подорожала, клиентура плохая, иди в чистильщики, и только.

– Тогда не надо обольщать, не надо заманивать! – говорила мать.

Хозяин глубоко вздыхал и говорил как бы про себя:

– Если б вы могли дать мне доказательства, совсем другой был бы разговор.

– Господи! – говорила мать, прижимая к груди палочку с бараниной.

Лена слушала их и смотрела на перечницу. Даже уходя, она все оглядывалась на перечницу, но попросить боялась.

Перед прощанием хозяин давал матери денег. Лена шла с матерью в рыбные ряды, мать покупала закуску, потом заходила за водкой, дома опять собирались женщины, пили и пели, и мать, вся красная, кричала:

– Я ему дам, подлецу, доказательства, он у меня узнает, как завлекать, сукин сын, дегенерал собачий!

– В центр, в центр на него подавай! – советовал хор. – Им, брат, потачку давать – они еще не то будут делать!

Мать служила сборщицей утильсырья. Иногда она исчезала на два, на три дня. Однажды она вернулась с каким-то мужчиной. Они поужинали и легли спать на кровати, а Лену мать положила на стульях, сдвинутых вместе. Утром Лена проснулась, подошла к кровати и стала рассматривать гостя. Он спал с краю, свесив почти до полу толстую руку. На руке налились синие жилы. Пальцы до половины были покрыты густыми черными волосами. Лене стало противно. Она взяла щепку и ударила гадкую руку по синим жилам. Рука продолжала спать.

К обеду мать встала, сбегала в лавку, и они с гостем сели за стол. Лене дали полстакана пива и кусок заливного. Из разговора она поняла, что мать собирается куда-то уезжать. Она обрадовалась. От пива она сначала стала смеяться, а потом заснула там, где сидела. На другой день мать повела ее на какую-то улицу и показала ей двухэтажный белый дом с облупившейся штукатуркой.

– Сюда придешь, – сказала она. – Заходи себе прямо, без никаких. Скажешь – сирота, мол, ни отца, ни матери, никого нет.

Мать испекла пироги, товарки принесли посуду, был большой пир. Мать то плясала, рас-трепанная, в новой шелковой кофте, то садилась к столу и подпирала щеки кулаками.

– Судьба моя, любовь моя, – говорила она. – И кто его осудит? Тот от своего отказывается, а этот, что ли, подбирать должен? Ежели б он, подлец, платил мне элименты какие следует, а то бараниной, сволочь, норовит отделаться, а я что за дура. У меня еще дети будут.

– Будут, будут, Паша, надейся! – кричал гость, и опять она шла плясать в своей голубой кофте, которая становилась на ней дыбом, как древесная кора.

Лена устала от гвалта и топота. Она надела свою рваную вязаную шапку, единственную, которую она носила зимой и летом. Взяла баночку от мази и рукоятку от шила – свои игрушки. Потихоньку – никто не заметил – она вышла на улицу и прямо пошла к двухэтажному белому дому с облупившейся штукатуркой.

– Я сирота, – сказала она двум большим стриженным девочкам, которые стояли у ворот, – у меня ни отца, ни матери, никого нет.

Девочки молча, серьезно смотрели на нее сверху вниз. Подняв к ним лицо, она повторила заученные слова. Одна девочка спросила:

– А тебе сколько лет?

Другая спросила у первой:

– Позвать Анну Яковлевну, да?

Лена заглянула в ворота. Там была площадка и качели, и зеленая травка кругом.

– Я сирота, – весело повторила Лена.

Пришла Анна Яковлевна, взяла Лену за руку и повела в дом.

Там Лену окружили взрослые и стали спрашивать: кто ее научил прийти сюда и где она живет. Они были большие; чтобы разговаривать с нею, они посадили ее на стол, а она их все-таки перехитрила.

– Меня никто не научил, – отвечала она, болтая ногами. – Я нигде не живу.

Она понимала, что они хотят отправить ее домой. А ей хотелось остаться в этом доме с качелями и зеленой травкой.

– Я хочу жить тут, – сказала она откровенно.

Взрослые засмеялись, и мужчина в золотых очках сказал:

– Надо заявить в милицию.

Все-таки она ночевала в этом доме, на кухаркиной кровати. Кухарка выкупала ее в корыте и остригла ей волосы. Весь вечер и все утро большие дети качали ее на качелях. Маленьких детей в доме не было.

Кухарка, купая Лену, сказала с негодованием:

– Я бы такую мать мордой об стол... Что она делала с ребенком, что он обовшивел весь?

Пришел милиционер. Мужчина в золотых очках отозвал Лену в сторону и по секрету сказал ей, что милиционеру надо говорить всю правду, иначе будет плохо: милиционер заберет в милицию.

– Ну и пусть! – ответила Лена. – Ну и пусть, а я не боюсь милицию.

И она сказала милиционеру, что она сирота и нигде не живет.

– А что твоя мама делает? – спросил милиционер.

– Собирает тряпки, – ответила Лена.

Все стали смеяться. Так или иначе, маму, собиравшую тряпки и имевшую маленькую дочь по имени Валентина, найти не удалось: она уже уехала, и Лену отдали в детский дом для маленьких детей.

Там она жила год. Она была неприхотлива и снисходительно относилась к людям. Ни к кому не привязываясь и ни от кого ничего не требуя, она прощала всем. То, что ей давали, она принимала с удовольствием, но без благодарности.

Она быстро привыкла к людской заботе и не видела ничего удивительного в том, что ее кормят, одевают, учат читать, что какие-то женщины стирают ее платья и готовят ей пищу, а другие женщины хлопают перед нею в ладоши и поют:

Мы своими ножками
Топ, топ, топ,
А потом ладошками
Хлоп, хлоп, хлоп...

Кроме того, они пели: «Вихри враждебные веют над нами» и «Вставай, проклятьем заклейменный». К пению Лена относилась как к неизбежной повинности.

Через год дом расформировали, и Лену перевели в другой детский дом, в другой город. Тут зима была длиннее и холоднее, и печки топили не углем, а дровами; а остальное было все так же.

Она росла. Девочка Валя – та была раньше, давно, та была другая. Теперешнюю звали Тиной. У нее было жилье и не было дома. Были подруги и не было семьи. О ней заботились, но без нежности. Ее не обижали и не ласкали.

Она аккуратно исполняла все, что от нее требовали: она не любила, чтобы ее бранили. Когда ей было лет семь, к ним назначили нового заведующего, комсомольца.

– Отставить, – сказал он, прослушав песню «Мы своими ножками». – Вы мне из детей кретинов вырастите. Они у вас уже почти кретины. Им нужна физкультура.

Физкультурные занятия Лене понравились. Она была самой ловкой и сильной. Ее стали хвалить, это было приятно. С тех пор она старалась все делать так, чтобы ее похвалили.

В седьмом классе преподавали Конституцию.

Учитель прочитывал статью из Конституции и потом долго объяснял, что эта статья – хорошая и справедливая. Лена смотрела на учителя и думала: зачем он так старается объяснять то, что всем понятно?

Она жила уже в пятом детском доме, была комсомолкой, училась на курсах физкультуры, ее звали Еленой. – Опять он о том же, только с другого конца взялся... Он доказывал, что Советское государство – самое правильное в мире... Для Лены не существовало никаких других государств, кроме Советского. Она была ребенком этого государства. Оно было ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать: товарищ. От любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она входила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой – она держалась уверенно, была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел – она начинала дичиться и замыкалась в себе: она не привыкла к таким разговорам.

Два раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно.

Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии.

Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные глупые и добрые глаза и щеки – как окорока. К физкультуре она отношения не имела; от сидения в канцелярии оплыла жиром. Леной она восхищалась.

– Как ты живешь в общежитии! – говорила она. – Ни подать, ни принять некому...

Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы – домик в три комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. На Катиной кровати лежало штук пятнадцать подушечек, вышитых мамиными руками. Лена смотрела на эти подушечки, как в детстве на перечницу.

– Да, хорошо ты живешь, – сказала она с невольным вздохом.

– Переходи к нам жить, – сказала ей Катя. – Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься. А то ты – как скелет.

– Переходите, Леночка, к нам, – сказала и Катина мама. – Катечка очень вас полюбила. Нехорошо барышне в общежитиях этих. Не дай бог чего.

Катина мама была тихая, с лицом в лучистых морщинках, с глазами такими же добрыми, как у Кати.

Лена перешла к ним. Ей поставили кровать в комнате Кати. Катя собственными руками переложила на эту кровать половину своих подушечек. Лену поили парным молоком. Жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец.

К Кате ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемухой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза.

Как-то, придя вечером домой, она застала Катю в слезах.

– Что ты? – спросила она с искренним участием.

– Ничего, – ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену.

Из соседней комнаты слышалось бормотанье Катиной мамы:

– Это уж я не знаю, что такое, – за добро так отплатить людям.

– Что у вас случилось? – спросила Лена.

– Коли со мной по-хорошему, – продолжала Катина мама, входя в комнату, – то и я обязана поступать по-хорошему, а не так.

– О чем вы? – спросила Лена, не подозревая, что все это относится к ней.

– Мы с вами, Леночка, поступили как с родной, – сказала Катина мама. – А вы вон чего делаете, это разве мыслимо, это только в нынешнее время стали барышни себе позволять.

– Я не понимаю, – сказала Лена, – о чем вы говорите. Я ничего плохого вам не сделала.

– Не надо оправдываться, милая, не надо оправдываться. В таких делах всегда женщина виновата. Парень – что малый телок: его куда потянут, туда он и идет.

– Вы что думаете, – спросила Лена, удивившись, – что я влюблена в Катиного жениха? – Она засмеялась. – Я не влюблена в него!

– Никто, Леночка, вам и не говорит, что вы влюблены, – отвечала Катина мама. – А что он в вас влюбился, так это с вашей стороны – уж вы нас извините – вовсе нехорошо и непорядочно.

Катя упала головой на стол и зарыдала.

– Мне это неизвестно, – сказала Лена зазвеневшим от злости голосом. – Ну его к черту, на черта он мне сдался?

– А мы этого не знаем, на черта или нет. Молодой человек, непьющий, интересный, жалование хорошее...

Лена ушла в комнату, где они спали с Катей, и легла на кровать. Ей захотелось уйти из этого дома.

Вошла Катя, под села и обняла ее.

– Не сердись на маму, – сказала она. – Я знаю, что ты не виновата. Просто все мужчины – подлецы.

Лене вспомнился подлец с бараниной. Она засмеялась. Катя поцеловала ее, гордясь своим великодушием. Они пошли ужинать. Лена пила парное молоко и думала: «Не хочу. Уйду».

Через несколько дней она получила от Катиного жениха записку с объяснением в любви. Она разорвала записку и возвратилась в общежитие.

Второй случай был за полгода до ее замужества.

В общежитии, в нижнем этаже, жили мужчины. Наверху, у женщин, было чисто. На плите стояли блестящие алюминиевые кастрюльки и небесно-голубые чайники. Мужчины жарили

яичницу и грели воду для бритья в эмалированных кружках, закопченных до черноты. Они харкали, плевали и бросали окурки на пол. Лена избегала знакомства с ними.

Однажды, когда она проходила по нижнему коридору, ее остановил какой-то.

– Товарищ, – сказал он глубоким баритоном, – простите, у вас градусника нету?

– Какого градусника? – спросила Лена, остановившись.

– Обыкновенного, измерить температуру, – ответил баритон. – Чувствую, понимаете, что жар, и нечем измерить.

– Сейчас спрошу, – сказала Лена и пошла к себе наверх.

У ее соседки нашелся градусник. Она вернулась вниз.

Баритон доверчиво ждал ее на том же месте. Он поблагодарил и спросил, в какой комнате она живет. Через четверть часа он постучался к ней.

– Тридцать девять и четыре, – сказал он, как будто она его об этом спрашивала. – Вот, будь она проклята, никак с нею не развяжешься.

– А что у вас? – спросила Лена, в жизни не болевшая ничем, кроме аппендицита.

– Малярия.

Он топтался у дверей, ему не хотелось уходить. У него было длинное, худое, горбоносое и вдохновенное лицо.

– И хина кончилась, – сказал он, мученически закинув голову, как Христос, говорящий: «Впрочем, не моя да будет воля, но твоя». – Но я сейчас схожу в аптеку. Я привык выходить с любой температурой, – сказал он и махнул рукой.

Была зима, градусов двадцать мороза. Лена сказала:

– Давайте рецепт, я схожу.

– Ну что вы! – сказал он. – Зачем это?

– Как хотите, – сказала она.

– Это стоит рубль двадцать копеек, – сказал он и дал ей рецепт и рубль двадцать копеек. Пальцы у него были очень тонкие; доставая деньги из кошелька, он отставил мизинец.

Она принесла ему хину и напоила чаем с лимоном. Ей было жалко его.

Они подружились. Каждый вечер он стучался к ней. Когда он чувствовал себя плохо, она спускалась к нему и ухаживала за ним. Он рассказал ей все о себе. Он был инженер. Она удивилась: она не думала, что инженеры живут в общежитиях вместе с кондукторами.

– У меня была прекрасная квартира, – объяснил он. – Я оставил ее жене.

У него было четыре жены. Все они, по его словам, ушли от него. Уходили они странно: квартира и все имущество оставалось у них, а покинутый баритон налегке переселялся в другое, холостяцкое жилье. От двух жен у него были дети.

– Чудесные девочки, – сказал он, вздохнув.

– Почему же, – спросила Лена, – вы ни с одной не могли ужиться?

В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. «Это из Четвертой симфонии Чайковского», – объяснил он, кончив свистеть. Потом спросил Лену, любит ли она стихи, и прочел ей стихи Асеева: «Нет, ты мне совсем не дорогая, милые такими не бывают». Стихи взволновали ее, она никогда не слышала ничего подобного, ее знакомство с поэзией ограничивалось хрестоматией для седьмого класса. Стихов он знал уйму и мог читать их в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение... Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыган» и прочитав последние строчки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», он тем же своим прекрасным голосом сказал: «Я вас люблю» – и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком. Она вскочила и так оттолкнула его, что этот хилый малярик стукнулся спиной о дверь.

– Сильно! – сказал он после молчания.

Она стояла, выпрямившись и сжав маленькие кулаки, потом легким, быстрым шагом прошла мимо и вышла вон, не поглядев на него.

У себя в комнате она выполоскала рот. Этого ей показалось мало. Она вычистила зубы порошком. У нее было такое чувство, словно она проглотила какую-то дрянь.

И вот пришла любовь.

Такой не было ни у кого.

– Поцелуй меня...

Кого еще целовали так?

– Спи, маленькая. Тебе не твердо на моей руке?

Кого еще берегли так?

– Поцелуй меня...

В первый раз в жизни у нее была своя квартира. Это была всего одна комната, но, господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья! И еще в кухне был шкафчик с посудой. И все это принадлежало ей, а она принадлежала Даниилу, Даниле, Дане, Даньке – бывают же такие прекрасные имена! Двадцать лет она была ничья и теперь с восторгом шла под руку законного хозяина.

Она считала его пожилым: ему было уже двадцать восемь лет. Ей нравилось, что он уже не так молод: по ее мнению, это и ей придавало солидности.

Ему нравилось делать ей подарки: каждый пустяк она принимала с такой радостью! «У меня никогда не было таких туфель, – говорила она. – У меня никогда не было такого платья». И, тронутый, он говорил:

– Радость моя, у тебя должны быть десятки таких платьев...

Даже обыкновенный шоколад она съедала с таким наслаждением, что приятно было смотреть на нее.

Хозяйничая, она надевала передник, и у нее был такой вид, словно она всю жизнь только и делала, что занималась хозяйством в собственной квартире.

Жизнь оказалась полной счастья и чудес. Любовь преобразила Лену: у нее была теперь другая походка, она по-другому держала плечи. Голос стал грудным и воркующим. Глаза потемнели и сузились. Она светилась торжеством, на нее оглядывались на улице, и это усиливало ее торжество.

Так прошло десять месяцев. Десять месяцев – триста дней, триста ночей.

Его мобилизовали сразу.

Это был страшный день. В первый раз она увидела, что в его жизни первое место занимает не она.

Он двигался по комнате, собирая какие-то свои вещи, и рассеянно отвечал ей...

Она не обиделась. Дело было не в обиде. Просто впервые она увидела его с этой стороны.

Первое место в его жизни занимало какое-то мужское дело, сейчас это дело призывало его. Он еще не ушел, а уже он ей не принадлежал.

Иначе не могло быть. Она закрыла лицо руками. Если бы было иначе, она разлюбила бы его.

Нет. Не разлюбила – разлюбить невозможно; но торжество ее померкло бы. Она была спортсменка, амазонка, победительница в состязаниях, она понимала такие вещи. Торжествовать можно только победу над сильным. Много ли чести победить слабое сердце? У него было сильное сердце. Она гордилась им.

Что-то надо сделать, чтобы он понял, как она все это поняла. Чтобы он ушел довольный ею.

Прежде всего надо скрыть свое отчаяние. Он хорошо держится – просто, спокойно. Шутит. Она тоже может так.

И надо помочь ему собраться. Уселась, сложила руки, как в гостях. Вот он кладет в рюкзак рубашку, а на ней нет пуговицы, она помнит.

– Постой, Даня, я сама.

Она вынула белье из рюкзака и все пересмотрела и починила. Собрала провизию – немного, он так просил. Напомнила взять тазик и кисточку для бритвы. И крем для сапог. И щетку. Уложила конверты, бумагу, спички.

Он сел и смотрел, как она укладывает его вещи. И это тоже так и должно быть: муж сидит, отдыхая, и курит, пока жена снаряжает его на войну.

А когда сборы были закончены и он подошел к ней, чтобы приласкать на прощанье, – она положила его голову себе на грудь и смотрела в его лицо с новым чувством – бесконечной близости и нежности, от которой разрывалось сердце.

Она была его сестрой, она была его матерью, как прежде она была его любовницей. Она была для него всем на свете.

Она проводила его на вокзал и простилась с ним без слез. Он спросил ее:

– Что ты будешь делать без меня?

Она ответила, виновато улыбнувшись:

– Я еще не придумала.

Он посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула тревога.

– Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да?

Она пообещала:

– Нет. Не очень.

– Маленькая, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво.

– Я без романтики.

В последний раз они поцеловались отчаянным поцелуем, после которого невозможно ничего больше говорить. Он вошел в вагон. Ничего не видя, она пошла с вокзала.

Ничего не видя, она вернулась домой. В комнате стояли и валялись вещи... Ничего не нужно, когда его нет. Сколько продлится война? «Года два», – сказал он. Два года! Когда ни одна минута, прожитая без него, не имеет цены. Она умрет с тоски. Чем жить? Можно задохнуться.

Она сидела на полу среди открытых чемоданов и разбросанного белья. У нее было серое лицо и потухшие глаза. И губы серые. И вот губы улыбнулись. Она подняла заблестевшие глаза. У нее будет та же судьба, что и у него.

Она встала, сняла дорогое платье, в котором провожала его, и надела старую голубую майку, заштопанную на локтях. Ключ – управдому. Другой ключ – Кате Грязновой, чтобы присматривала. И нечего тут сидеть. Только надо все убрать аккуратно: вдруг он вернется раньше нее? Она убрала, вышла из своего рая и отправилась в военкомат.

Данилову понравилась Лена.

– Здорова, – говорил он о ней. – Свободно одна может на руках перетащить мужика.

И Данилов Лене нравился. Собственно, не Данилов, а его фамилия. Все называли его: товарищ комиссар. Она обращалась к нему: товарищ Данилов. Ей было приятно произносить это имя, оно напоминало имя любимого. Данила, Даниил, Даня, Данька...

Данилов назначил было Лену в вагон-аптеку: ему представлялось, что она будет очень ловко подсаживать раненых на перевязочный стол. Но Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, сказала начальнику поезда:

– Прошу вас, товарищ начальник, дать мне другую санитарку.

– А что? – с готовностью осведомился со всеми предупредительный доктор. – Не нравится?

– Да, не нравится.

– Гм! – сказал доктор. – А знаете, мне самому она показалась такой это, а?

Юлия Дмитриевна поджала тонкие, по линейке прорезанные губы.

– Да, вот именно такой.

– Какой-то не такой, а?

– Легкомыслие на лице написано, – процедила Юлия Дмитриевна.

– Да, да, да, легкомыслие, да... Хорошо! – сказал доктор, начальственно кивнув головой. – Я подумаю над этим вопросом.

И он сказал Данилову:

– Как бы в аптеку поставить другую санитарку, а?

– А что? – спросил Данилов. – Не справится, думаете?

– Да, не справится. Мы с сестрой присмотрелись – не справится, знаете. Легкость, легкость. Туда надо посолиднее.

Данилов перечить не стал: медицине в таком деле виднее. В вагон-аптеку поставили Клаву Мухину, а Лену перевели в кригеровский вагон.

Она ходила по вагону и без конца приводила его в порядок. То и дело ложилась пыль на оконные стекла, на лакированные полочки. Лена была немножко обижена, что ее удалили из аптеки. Конечно, это дело рук краснокожего черта – перевязочной сестры. Вот урод так уж урод, ничего не скажешь. Наверно, ее никто никогда не любил. Так ей и надо. За что она взъелась на нее, Лену? Вот назло же ведьме вагон Лены будет чище всех. И она ходила целый день с ведром и тряпкой, протирала стекла газетной бумагой, как делала Катина мама, перетряхивала одеяла... Мухи, мухи, откуда они берутся! Ни еды, ни духа человеческого еще нет в вагоне, а вон – пролетела одна, за нею – другая... Лена кралась за мухами. Одну поймала, а другая спряталась куда-то, Лена ее не нашла. Клава сделала из бинтов абажуры на лампочки. Абажуры были густо разукрашены фестонами. Лена завидовала: она не умела делать фестоны. Надо будет подружиться с Клавой, чтобы научила. Но Клава день и ночь проводила в вагоне-аптеке, а Лена старалась показываться там пореже, чтобы не встречаться с Юлией Дмитриевной.

...А муж всегда был рядом с нею, никуда не уходил. Правда, она не могла все время, как прежде, разговаривать с ним и рассчитывать каждое движение так, чтобы нравиться ему – у нее было очень много дела, но все-таки она ни на минуту не забывала о его присутствии и то и дело обращалась к нему. «Ну вот так, Даня», – рассеянно говорила она, взбив подушки на койках и любуясь своей работой. «А теперь мы еще разок вымоем пол!» – говорила она ему. И только когда наступал час отдыха, она уходила вся в тот нежный и лукавый мир, где были только он, она и их любовь.

Но для этого мира оставалось очень мало времени. То на кухню звали чистить картошку, то доктор Супругов читал лекцию о личной гигиене. По утрам комиссар Данилов собирал всю команду и читал вслух сводку, а потом объяснял, какие варвары фашисты, и что все наши неудачи временные, и что в конце концов победит Красная армия, а гитлеровцы будут разбиты в пух и прах... Лена слушала Данилова и думала: «Зачем так длинно говоришь – без тебя знаю, что победим все-таки мы, Данька и я, иначе не может быть, иначе Даньку убьют и меня убьют, и нам никогда не будет счастья...» Ее не очень беспокоило то, что немцы берут город за городом. Ну, взяли еще город. Что же делать. Все равно отобьем обратно. Только бы скорее отбить, чтобы скорее вернулась прежняя жизнь и вернулся Данька. Она не получила от него еще ни одного письма, но знала, что он жив.

Ночью Лена спала крепко, ее не разбудил ни обход, предпринятый Даниловым, ни толчок поезда. Она проснулась, когда уже рассвело. Что-то очень хорошее снилось ей под утро.

Она лежала, не открывая глаз, и улыбалась этому хорошему – и тут же, не открывая глаз, вспомнила: ничего этого нет, она в санитарном поезде, едет за ранеными, поезд стоит – неужели приехали?

Она вскочила и высунулась в окно: железнодорожная будка, да луг, да лес, птички уже поют в лесу, заря на востоке, розовая-розовая, воздушная-воздушная, плакать хочется, такая милая заря! И по всему небу облака, как розовые перышки, – никогда она не видела такого неба...

«Опять стоим на разъезде. Не торопятся с нами...»

Рано она поднялась. Все спят. До подъема часа два еще... Можно лечь и посмотреть, – может, опять приснится что-нибудь очень хорошее...

Но вот комиссар Данилов, он уже встал. Он выходит из вагона-кухни. Лена надела юбку и босиком вышла из вагона. Утро было свежее, птицы пели все громче. В палисаднике возле будки цвел куст жасмина. Лене захотелось стащить веточку, она стала подбираться к палисаднику.

– Эй, Огородникова! – крикнул Данилов Лене, которая протягивала руку к жасминовому кусту. – Залазь обратно – сейчас тронемся. Отстанешь.

Лена только выпятила губу. Тронемся! Экспресс какой, подумаешь. Что, она на ходу не вскочит, что ли? Она отломила ветку, в лицо ей брызнула свежая влага.

Поезд тронулся. Данилов полез в вагон. Лена нарочно дождалась, стоя на полотне. Теплый ветер из-под колес бежал по ее босым ногам. Когда последний вагон поравнялся с нею, она схватилась за поручень, легко подпрыгнула и вскочила на подножку, которая приходилась ей выше колен. Стоя на подножке, она порадовалась на себя – как она ловко вскочила, какая она сильная, как хорошо обдувает ей встречным ветром лоб и грудь... «Видишь, Даня, – сказала она, усмехаясь, – видишь, какая я у тебя...» И, дав ему налюбоваться собою вдоволь, вошла в вагон.

Глава третья Доктор Белов

В Ленинграде санитарный поезд остановился на станции Витебск-Сортировочная. Паровоз обещали дать через полчаса; прошло два часа, а его еще не было. Доктор Белов бродил около штабного вагона и бормотал:

– Это же ужас что такое...

Бормотанье относилось не к стоянке. Доктор телеграфировал жене, что будет проездом в Ленинграде, и просил ее приехать на вокзал. Но на какой вокзал их примут, он сам не знал до сегодняшнего утра. И вот теперь ее не было. Это было ужасно. Главное, что она, может быть, уже здесь. Бродит по этой раскаленной, перебитой железом земле и ищет его. А здесь десятки поездов, тысячи вагонов. Она не успеет найти его, как подадут паровоз и надо будет ехать. Доктор мучился. Несколько раз он собирался идти искать жену между составами. Уже отходил от штабного вагона. Но ему становилось страшно: вдруг поезд уйдет без него. Можно, конечно, догнать. Но что скажет Данилов? Данилова доктор побаивался.

Данилов шел мимо, козырнул: он еще не виделся сегодня с начальником. С утра было партийное собрание, выбирали парторганизатора. Выбрали Юлию Дмитриевну, и Данилов за нее голосовал, потому что больше не за кого было, а теперь его терзали сомнения. При всех своих мужских ухватках Юлия Дмитриевна все-таки женщина. А парторганизатору предстоит ой-ой какая возня с доктором Беловым. Про себя Данилов сформулировал задачу так: из доктора Белова надо сделать начальника поезда. Где уж слабым женским рукам осилить такое дело...

Данилов козырнул доктору и мысленно пожалел его. Доктор гулял на припеке в полной форме. Нагрудные карманы его гимнастерки выпирали чугунными четырехугольниками; чего он туда напихал? Из-под блестящего козырька фуражки торчал блестящий нос; по крыльям носа скатывались ручейки пота. Доктор был накален, как крыша.

– Жарко! – сказал Данилов.

– Не говорите, – сказал доктор. – Знаете, сквозь подошву чувствуется, какой горячий гравий.

Данилов внимательно посмотрел себе под ноги: он не знал, что это называется гравий; он любил узнавать такие вещи. Старички-интеллигенты всегда что-нибудь такое скажут.

– Нет, куда это нас поставили? – продолжал доктор. – Это железнодорожные джунгли какие-то. Я – старый ленинградец, но совершенно не знаю этих мест.

Данилов не ответил: не все ли равно, где стоять? Важно ехать и приехать куда нужно. Он не знал, почему томится начальник. Он не знал, что начальник готов заплакать, как маленький ребенок.

– Иван Егорыч, – спросил доктор, – вы в хороших отношениях с вашей женой?

– Как это? – удивился Данилов. – Она жена; какие могут быть отношения?..

– Нет, знаете, – сконфузился доктор, – я хотел спросить – вы... Ну, одним словом, бывает, что люди прожили вместе тридцать лет, а настоящей дружбы нет все-таки, – ведь бывает?

Данилов отвел глаза.

– Бывает, конечно...

– А бывает и наоборот, – сказал доктор, и вдруг лицо его просияло, засветилось нежностью, гордостью, стыдливым восторгом; Данилов удивился окончательно.

Обогнув хвост соседнего состава, через пути переходила седая женщина, очень высокая, на голову выше доктора. Она была в сером простом платье и черной соломенной шляпе фасона двадцатых годов.

– Сонечка... – сказал доктор слабо. – Я думал, ты уже не придешь. Иван Егорыч, разрешите представить вас моей жене... Сонечка, это Иван Егорыч Данилов, я бы без него пропал.

Женщина взглянула в лицо Данилову и протянула ему руку. На другой руке у нее висела огромная, раздувшаяся от пакетов сетчатая сумка.

– Пойдем, я тебе покажу мое купе... – бормотал доктор, растерявшийся от счастья. – Ты одна... Дай мне сумку... Ну конечно, одна... Всегда одна, всегда...

– Игорь на окопах, – отвечала женщина, идя за ним. – А Лялю не отпустили со службы. Я тебе захватила рукавицы, Николай, ты забыл рукавицы.

«Смотри, пожалуйста, как молодой», – думал Данилов, глядя, как доктор подсаживает жену в вагон. У нее на руке от тяжелой сумки был глубокий красный рубец. Рука была морщинистая, бледная, худая.

В купе жужжал вентилятор.

Доктор и его жена сидели на диване. Он держал ее за руку. На столе лежали свертки, вынутые из сумки.

– Сонечка, ты замечаешь, мы с тобой сидим сейчас, как в вечер нашего прощанья, помнишь? А помнишь, я тогда сказал, что это, может быть, уже в последний раз. И вот мы опять так сидим, а? А ведь прошло всего полторы недели, а? Ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы будем сидеть так еще много, много раз. А тебе?

Она поцеловала его в мокрый соленый лоб и сказала ласково:

– И мне кажется. Только дай мне воды. Холодной, и побольше.

Доктор вскочил и схватился за голову:

– Милая, прости! Я, по обыкновению, ни о чем не подумал! Ты измучилась! Блуждала по этим джунглям! Искала меня! Боже мой! Вот здесь в графине, я сейчас, только она теплая, противная...

Постучали в зеркальную дверь. Толстая румяная Фима в белом сборчатом берете, кокетничая, впорхнула с подносом. На подносе был кофейник, печенье, кувшин с морсом, в кувшине плавал кусок льда. Из-за Фиминого плеча выглянуло еще чье-то лицо. Всем было интересно посмотреть на жену начальника.

Доктор залился радостным смехом.

– Сонечка, это Данилов! Уверю тебя, это Данилов! Что за человек! Фима, кто это прислал, Данилов?

Наливая кофе в чашки, Фима ответила чинно:

– Начальник АХЧ велел сказать, что через десять минут будет готова свиная отбивная.

– Сонечка, ты подожди пить кофе. Съешь сначала свиную отбивную. Это, конечно, Данилов, а не начальник АХЧ. Начальник АХЧ кормит нас, представь себе, исключительно пшенной кашей, исключительно, исключительно... Я даже не знал, что у нас есть свинина. Это Данилов решил сверкнуть перед тобой. Что за человек! Ах, человек!.. Фима, несите отбивную, несите, несите...

Жена хотела, чтобы и он ел с нею. Слишком жарко, чтобы есть горячий жир, она столько не съест, он ведь знает, что она не может съесть так много. Он отказывался, но, когда она протягивала ему кусочек на вилке, он глотал его, полный восторга. Нет, это удивительное, удивительное счастье, что она его нашла!

– Как же ты нашла все-таки? Я бы ни за что не нашел... Милая, я глупости спрашиваю, извини. Что я хотел сказать... Да! Ведь тебя не посылают на окопы?

– Нет. Не посылают.

– Ну конечно, конечно. С твоим здоровьем...

– Меня никто не посылает. Я сама пойду.

Ее лицо задрожало.

– Бьют нас, ах как бьют, Николай...

Он растерянно смотрел на нее.

– Бьют, да... Это пока...

– Ах, я знаю, что пока! Я видела человека из Вильны. Такой ужас, что... Я не хочу говорить. Спрашивай дальше. Что ты еще хочешь спросить?

– Ляля и Игорь...

– Ляля служит. Говорит, что их, должно быть, тоже на днях пошлют. Игорь уехал с первой партией.

– Куда?

– На Псков.

Она плакала. Он выпустил ее руку и смотрел на нее со страхом. Прежде она никогда не плакала. Прежде он ревновал ее к сыну. Сын был неудачный – лентяй, грубый, вечно шатался бог знает где; доктора обижало, что она все прощает сыну и оставляет для него лучшие куски, обделяя дочь. Теперь он понял – так ему казалось: она знала, что сыну предстоит особая доля, военная доля; она ведь часто говорила: «Ничего, кончит школу, пойдет в армию, там его вышколят». Она знала, что ему предстоит с первой партией рыть окопы; вот она и жалела его и баловала...

– Сонечка, не плачь! – взмолился доктор. – Ну что ты плачешь, девочка, словно его уже убили!

– Я не о нем плачу. Я и сама бы поехала, если бы не работала. Я плачу потому, что не могу я слышать эти сводки.

Да, работа, он про работу ничего не спросил.

– На работе все то же. Иногда зло берет: такое время, а они зубы себе вставляют. Одна дура принесла золото. У нее два зуба из стали, она желает заменить золотыми. Я не выдержала, сказала: «Другого времени не нашли менять?» Она обиделась, пошла искать другого протезиста. Черт с ней.

– Черт с ней, – повторил он машинально.

Они замолчали и долго сидели молча, глядя друг на друга добрыми заплаканными глазами. Кофе в чашках подернулся белой пленкой, они о нем забыли. Забыли и о морсе.

Опять постучали. Вошел Данилов. Извинившись, сообщил, что сейчас будут прицеплять паровоз.

– Что? – спросил доктор. – Уже? Значит, едем, Сонечка...

Данилов вышел, чтобы не мешать супругам проститься. Потом жена доктора ушла. Она шла между путями – высокая, чуть-чуть сутулая, под старой черной шляпой – седые волосы. Доктор – маленький, возмужавший от военной формы, семена ногами, шел с нею рядом – провожал.

До войны доктор писал дневник. В глубине души он чувствовал себя литератором. Ведь были врачи-писатели: Чехов, Вересаев. Ну, может быть, он не беллетрист, а публицист, как...

– Марат, – подсказала Сонечка, когда он однажды поделился с нею этими мыслями. Доктора обидела ее насмешка, и он не признался ей в том, что ведет дневник. Он писал, скрываясь. Особенно стеснялся детей. Он не знал, что жена и дочь тайком друг от друга вытаскивают его тетради из ящика и прочитывают все от слова до слова.

Было приятно писать потому, что каждое мелкое событие в литературном изложении приобретало значительность, а иногда даже грандиозность. Если доктору случалось писать о ком-нибудь из знакомых плохое, он не называл настоящих имен, заменял условными буквами – NN, X, Z. Он боялся, чтобы люди, которые приходили к нему играть в преферанс, не были опорочены после его смерти, когда его записки будут обнаружены и опубликованы. Уезжая из дому, он уложил дневник в папку, папку обвязал веревочкой и запечатал сургучом.

– Сонечка, – сказал он, подавая жене папку обеими руками, как образ, – это прошу хранить и вскрыть только в случае... Ты понимаешь, в каком случае.

В поезде, после встречи с женой, ему опять захотелось писать. Он открыл толстую, еще не начатую тетрадь, с удовольствием понюхал ее клеенчатый переплет, вздохнул и написал:

«2 июля 1941 года. Приходила Сонечка».

И сразу ему расхотелось писать. Поезд шел. В купе было прохладно. Жужжал вентилятор... Вот здесь она сидела в уголке. Попала она в трамвай или еще ждет?.. Доктор положил лоб на тетрадь и долго сидел так, не шевелясь.

«Странный человек NN, – писал доктор на другой день, справившись с собою. – Я понимаю И. Е. Данилова, понимаю нашу симпатичную, хотя и суровую хирургическую сестру. Понимаю эту девицу в берете, которая заботится обо мне и больше всего довольна, когда я похвалю фасон, которым сложена салфетка, понимаю пьяницу Z, понимаю каждого человека в поезде, но вот NN я никак не могу понять. А ведь он самый близкий мне здесь человек, во всяком случае должен быть самым близким. Ведь мы люди одной профессии, мы могли бы беседовать часами, но мне почему-то совсем не хочется беседовать с ним. Он угощает меня папиросами, и так это вежливо, но за этой вежливостью ничего нет. Я заговаривал с ним о текущих событиях; он говорил о них совершенно теми же словами, которые мы видим в официальных газетных сообщениях. Заговаривал по вопросам нашей практики; он соглашается со мной, какую бы глупость я нарочно ни сказал. Спрашивал его о семье: он холост, живет со старухой-матерью. Кажется, он библиоман: у него своя библиотека; я просил почитать что-нибудь, он смутился, обещал дать книгу и до сих пор ничего не дал. Нельзя назвать его нелюдимым: он заговаривает с людьми, но предоставляет им высказываться, а сам поддакивает. Замечаю, что и И. Е. его не любит».

Доктор обмакнул перо, вспомнил, как писали о своих героях старые романисты, и приписал:

«В нем есть что-то загадочное и отталкивающее».

Старшая сестра Фаина тоже находила Супругова загадочным. Но не отталкивающим. О нет! Именно эта загадочность привлекала Фаину.

– Доктор, – говорила Фаина Супругову, толкая его горячим плечом, – ну о чем вы все время молчите? Я хочу знать. Поделитесь со мной.

Фаина была на полголовы выше Супругова, пышная, цветущая, шумная. Может быть, при других обстоятельствах ее внимание польстило бы Супругову. Но теперь ему было не до того.

Супругов боялся. В этом была вся загадка.

Он боялся исступленно.

Специальность у Супругова была тихая: ухо, горло, нос. К нему приходили дети с полипами в носу и оглохшие старики. Супругов делал значительное лицо, смазывал, чистил, прижигал, но он знал, что и с глухотой больной проживет еще двадцать лет, и у него не было той активной жалости и уважения к чужому страданию, какие бывают у хирургов, педиатров или универсальных сельских врачей. Не было у Супругова и привычки к виду страдания и смерти. Его пациенты болели без мучений, они испытывали неудобства, а не боль; а умирали они без участия Супругова, от каких-то других болезней... Супругов был доволен, что у него такая чистая работа. Сам он лечился от каждого пустяка. Однажды у него был нарыв на пальце. Он вспоминал об этом с содроганием: это было ужасно! Мать удивлялась его стонам:

– Неужели так больно?

Это была беззаботная старушка. Она родила за свою жизнь семерых детей и шестерых схоронила, много видела боли и скорби и все-таки до семидесяти лет сохранила в глазах тот живой огонь, которого был лишен Супругов. В старости она стала несколько легкомысленной, пристрастилась к лото и цирку и хозяйством занималась невнимательно, но в общем они с сыном жили припеваючи.

Супругов коллекционировал книги, скульптуру, красивую посуду и изделия палешан. У него в кабинете стоял шкафчик с китайским фарфором и венецианским стеклом. Не то чтобы он очень понимал в китайском фарфоре, в изделиях палешан или в стихах Верхарна, а просто ему нравились изящные вещи, и он украшал ими свою квартиру. Он аккуратно ходил на все заседания, на которые его приглашали, и на новые спектакли, и к знакомым в гости, он слушал радио, читал газету, выписывал специальные издания, но больше всего он любил сидеть дома в одиночестве, покуривать и рассматривать свои коллекции.

– Хоть бы ты женился, Павлик, – говорила мать, возвращаясь за полночь домой. – Все ты один да один!

Но он не хотел жениться. Бог с ними, с женщинами. Он не позволял себе с ними ничего, кроме комплиментов: столько приходится слышать о неудачных союзах, разводах, семейных недоразумениях... А венерические болезни? Боже сохрани! И потом, разве он один? Большую часть времени он проводит в коллективе... Когда-то, в ранней молодости, он отдал дань любви. Он имел два романа, и что же? Оба закончились ужасными неприятностями... И довольно, довольно с него.

– Не нравишься ты мне! – чистосердечно признавалась мать, глядя на него с сомнением.

Посмеиваясь, он целовал ее мягкую щеку: бедная мамочка, она выживает из ума. Как может не нравиться такой сын? Он дает ей все необходимое для жизни, вплоть до билетов в цирк. А ведь выбивался из нужды. Отец приказчиком служил в обувной лавке. А вот он – Павел Супругов – врач, интеллигентный человек, ценитель искусства. Говорят – советская власть открыла двери... Но и своя голова должна быть у человека на плечах.

Он был совершенно доволен своей жизнью.

Был ли он так же доволен собой? На этот вопрос он не мог бы ответить определенно. Скорее – нет, не был. Что-то было в нем неблагополучно, чего-то не доставало, а чего – он не знал. Он никому ничего не мог приказать, он мог только просить. Другие приказывают, и их охотно слушают. Как это человек приказывает? Почему его слушают? Почему он, Супругов, никому не смеет приказывать? А если бы и посмел – его бы не послушались, только удиви-

лись... Почему другие спорят, а его всегда так и подмывает поддакнуть собеседнику, если даже он с ним не согласен? Только в крайнем волнении он решается возражать, да и то до тех пор, пока на него не прикрикнут... Почему другие люди говорят друг другу резкости и не обижаются, а его, Супругова, болезненно обижает каждый пустяк?

Чтобы не давать повода для обид, он старался быть как можно вежливее, угощал всех папиросами и везде, где мог, обещал «поблагодарить».

Другие держатся в жизни как хозяева. А он стоит у порога, как непрощенный гость. Почему?

Он не понимал почему.

Впрочем, он старался не думать об этом. Ему и так хорошо. У него есть все: солидная профессия, прочное положение, чистая репутация. И эти милые безделицы, которые украшают существование. Что еще нужно для счастья, в конце концов?

Война с первых дней все исковеркала. Все полетело к черту: уверенность, покой, солидность. Человек привык слушать жизнь, как скрипку, и то через стену; и вдруг она забила в барабан у самого уха.

Его мобилизовали. Позвольте! У него слабое здоровье! Что ж, он будет служить в санитарном поезде. Но он не хирург! Он не умеет извлекать пули и накладывать гипс! Это сделают другие; а он будет возить раненых и смотреть за ними в дороге, чтобы не болели, чтобы выздоравливали. И пусть не беспокоится – при надобности его научат и пули извлекать...

Но он не хочет, чтобы его изувечили! Он боится бомб! Боится страданий!

– Повойой, Павлик, ничего; надо воевать, – бормотала мать, собирая его. Голова у нее тряслась. Он не сказал ей о своем ужасе. Он ненавидел ее в эти дни. Он всех ненавидел. Зачем они притворяются, что не боятся?! Они все знают, так же как и он, и о фугасах, и о разрывных пулях, и об иприте, и о звериной жестокости врага. Как они смеют делать вид, что им не страшно?! Как они могут смеяться, говорить о житейских пустяках, есть мороженое, ходить в театр, когда внутри у них воеет: «Ууу!»

Но все словно сговорились притворяться. Они притворялись так искусно, что даже он поверил, будто они действительно не боятся. Приходилось притворяться и ему. И он навязчиво угощал папиросами, говорил о пустяках, старался не выдавать себя. Но по ночам он не спал. Поезд шел к фронту. Супругов курил и седел. Доктор Белов рассказывал ему случаи из своей практики. Фаина заигрывала с ним. Монтер Низвецкий приходил за врачебным советом. Супругов любезно отвечал им всем, а обезумевший зверь выл, не переставая: «Ууу!»

Соболь, начальник АХЧ, терзался сомнениями: открыть начальнику поезда истинное положение вещей или предоставить времени обелить его, Соболя, и разоблачить Данилова?

Не Соболь виноват был в том, что персонал санитарного поезда кормился пшенной кашей и чахлыми диетическими супчиками. Это Данилов так распорядился. Он сказал Соболю:

– Слушай. О том, что у тебя есть мясо, сливочное масло, какао и прочие деликатесы, – забудь.

– Навсегда? – спросил Соболь. – Или, может быть, иногда можно вспоминать?

– Я тебе скажу, когда надо будет вспомнить, – пообещал Данилов.

На четвертый день пребывания в поезде доктор Белов, смущаясь, сказал Данилову:

– Что-то у нас неладно с питанием, знаете. Люди недовольны. Надо бы пошевелить нашего начальника АХЧ.

– Начальник АХЧ ведет правильную линию, – отвечал Данилов. – Неизвестно, в какую обстановку мы попадем в ближайшее время и где получим продукты, и какие, и сколько. А нам предстоит кормить раненых.

И, играя носками начищенных сапог, он закончил:

– Я считаю, что Соболь совершенно прав.

– Да, да, – заторопился доктор, сконфуженный мыслью, что Данилов может принять его за себялюбца и лакомку. – Да, действительно, неизвестно, где и что, Соболев прав...

И все ругали Соболя, все, начиная от сестры-хозяйки, которой Соболев отвечивал пшено по утрам, и кончая Кравцовым. Кравцов не снизошел до личного объяснения, но передал через Костицына, что набьет Соболю морду, если тот не прекратит свои хулиганские штучки.

Вот тогда Соболев задумал пойти к доктору Белову и все ему рассказать начистоту. Соболев понимал, что Кравцов не из тех людей, которые шутят. Соболя влекло под защиту доктора. Он стал попадаться доктору на глаза по нескольку раз в день. Доктор смотрел на него юмористически: его забавляло, что Соболев все считает. Закатив глаза, Соболев считал вполголоса:

– Сто двадцать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, округляем, получаем восемь кил...

На счетах он считал плохо, делил и множил в уме.

Он так и не решился подойти к доктору. Он не знал, как комиссар отнесется к такому выпадку. У комиссара были холодные глаза и маленький жесткий рот. Морду бить он не будет, но кому охота портить отношения с таким человеком?

«Интриган», – думал Соболев о Данилове.

Он нашел выход. Воспользовавшись моментом, когда в штабном вагоне обедали, он достал из кладовой банку паштета, отрезал кусок масла и отсыпал сахара. «А что я могу сделать?» – шептал он. Сосчитал куски сахара – оказалось сорок два. «Жирно будет», – подумал Соболев и двенадцать кусков – самые большие – положил обратно. Спрятав все в карман, он пошел к Кравцову. Кравцов спал в вагоне команды, на верхней полке, укрыв лицо газетой, – только бороденка торчала из-под газеты... Внизу спал Сухоедов. Больше никого близко не было.

Соболев осторожно потолкал Кравцова.

– Товарищ Кравцов, – зашептал он, когда Кравцов сдвинул газету с лица и взглянул на него заспанным глазом, – вы напрасно сердитесь, я абсолютно ни при чем.

– Что ты тут строишь? – спросил Кравцов, садясь на полке и глядя на припасы, которые Соболев выкладывал ему на колени. – А, боже мой: что я, грудное дитё, чтоб сахар сосать?

Но, смягченный смирением Соболя, он простил его.

Соболев успокоился. Ему даже стало нравиться, что его считают влиятельным лицом. Он стал пошучивать с женщинами, чего не было в первые дни.

– Ах, витязь, то была Фаина! – говорил он, встретясь в коридоре со старшей сестрой.

Данилов, услышав, спросил:

– Что это значит?

– Тут я меньше всего при чем-нибудь! – сказал Соболев и поднял обе руки. – Это сочинил Пушкин.

А война шла, враг продвигался вглубь страны, по русским дорогам неслись его мотоциклы, над русскими городами летали его самолеты.

– Вы заметили? – сказал доктор Белов Данилову. – Наши люди смеются. Острят. Как ни в чем не бывало.

Данилов кивнул:

– Что ж, это хорошо.

Подумав, повторил:

– Хорошо, что острят. Нехорошо то, что не представляют себе размеров бедствия. Мы здесь, в поезде, в какой-то строгой изоляции без поражения в правах.

Доктору вспомнилась Сонечка, ее слезы. Он затуманился:

– Вы думаете – бедствие так огромно?

Данилов усмехнулся невесело.

– Чего ж тут думать? Видно, – он говорил медленно, прикусывая губы, и видно было, что ему больно говорить, – конец не скоро. Края не видать. Только началось...

– Наш народ, знаете, – сказал доктор, – пойдет на любые жертвы.

– Какие жертвы? – спросил Данилов. – Жертва приносится кому-нибудь, правда? Самому себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функция народа, ваша функция, моя функция, девочек этих функция. Подвиг для нашего народа не жертва, а одно из его повседневных проявлений. Чтобы мы могли жить дальше как советский народ, часть из нас должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Иванова. Это – жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову? Вы извините, я, может, не очень ясно выражаю свою мысль...

– Нет, я вас очень хорошо понимаю, – сказал доктор, – и, пожалуй, готов согласиться с вами. Но подвига я вам не уступлю. Вы мне не докажете, что подвига не существует, что это какая-то там функция. Подвиг – это, знаете, красота человеческая, взлет человеческого духа, и не всякий способен на подвиг, к нему талант надо иметь.

– Таланты развиваются, – сказал Данилов. – В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант не Господом Богом вдувается в человека, он создается воспитанием, средой... обстановкой, – сказал он, сердито скользнув глазами по тесному, как коробка, купе.

Доктор покачал головой. Он не был согласен с Даниловым. По его мнению, Данилов упрощал вопрос. Этак из каждого можно сделать Героя Советского Союза.

– В Советском Союзе, – сказал Данилов, – из каждого можно сделать героя.

– У нас двести миллионов населения, если не ошибаюсь, – сказал доктор. – Что же, двести миллионов героев?

– Вполне возможно.

– Двести миллионов минус один, – сказал доктор шутя. – Из такого старого мешка, как я, не сделать героя.

– Двести миллионов минус один, – сказал Данилов. – Двести миллионов минус Супругов. Они засмеялись. Серьезный разговор закончился шуткой.

С того часа, как Сонечка приходила в поезд, одна мысль не оставляла доктора.

Он мог думать сколько угодно о служебных делах, о положении на фронте, о Супругове, о Соболе, он мог есть, спать, писать дневник, разговаривать, шутить, огорчаться – а эта мысль держала его душу обеими руками и время от времени сдавливала побольнее – чувствуй! Не забывай!

Это была мысль о сыне.

По вечерам доктор оставался один. Он снимал военную форму, в которой было так жарко. Надевал полосатые летние брючки и ложился полуодетым (на случай бомбежки: не выскакивать же тогда в белье, когда кругом женщины).

Он ложился на широкий плюшевый диван, закрывал глаза, и сейчас же сын садился рядом, и они разговаривали.

(Когда-то было наоборот: сын лежал в кроватке, барахтался и шалил, а доктор сидел рядом и уговаривал сына спать.)

– Игорек, – спрашивал доктор, – как же это вышло, милый, что мы с тобой разошлись?

Был мальчик, прекрасный мальчик.

Двухлетний, он забрался на крышу флигеля по лестнице, которую оставили кровельщики. Дети со двора позвали Сонечку, она выглянула в окно и увидела Игоря – он сидел на краю крыши и болтал ногами. Сонечка ахнула, ей стало дурно... Соседка полезла за ним – он вскочил и побежал вверх, к трубе, и, когда соседка схватила его, он ревел и колотил ее ногами: ему не хотелось вниз.

Соседка говорила: «Нужно отшлепать хорошенько, чтобы другой раз неповадно было лазить куда не след». Но Сонечка только целовала сына, и доктор, когда пришел домой и ему рассказали, тоже целовал: подумать только – всего два года мальчишке...

Годом позже. Доктор шел по Карповке (они тогда жили на Карповке, по улице Литераторов), вел Игоря за руку. За другую руку Игоря держала Ляля, ей было тогда семь, нет, восемь лет. Из подворотни выскочила собака, стала лаять. Ляля выпустила руку Игоря, зашла за спину отца – спряталась. Игорь вырвался от отца, побежал к собаке и залаял на нее: «Ав, ав!» И собака испугалась и убежала в подворотню.

Его еще в платящих водили тогда, на нем было голубенькое какое-то платьице и фартучек, и волосы у него вились, как у девочки...

Смелый, чудесный был мальчик.

Данилов говорит, что смелость дается воспитанием. Может быть, может быть. А кто в двухлетнем Игоре воспитывал смелость? Тут что-то не то. Может быть, есть две смелости: одна – привитая воспитанием, другая – врожденное свойство характера...

Не важно, в конце концов. Важно то, что Игорь, сын, был смелым от рождения.

Не только смелым. Чутким, тонким, вообще – необыкновенным...

– Завтра у нас будет стирка, – говорили в доме. – Надо купить щелоку, завтра будет стирка.

И на другой день приходила женщина, которая стирала у них белье, и Игорь думал, что это ее имя – Стирка, и так и звал ее: тетя Стирка. Он подпрыгивал около нее и заглядывал в лохань – там было столько пены и пузырей!

Однажды Стирка привела свою девочку, годами тремя постарше Игоря. Девочка научила его играть в кремушки, в крестики и нолики. Игорь обожал эту девочку. Он все обнимал и целовал ее. Сонечка приревновала, спросила:

– Да ты кого больше любишь, меня или Лиду?

Он ответил:

– Конечно Лиду.

А потом стали пропадать игрушки. Сонечка молчала, у нее не хватало духу огорчить сына. Наконец она не выдержала.

– Игорек, Лида нехорошая, – сказала она. – Ты ее так любишь, а она украла у тебя все лучшие игрушки.

Он ничего не сказал, ушел в столовую, сел с ногами на большой диван и долго сидел так. «И глаза у него, – рассказывала Сонечка, – были удивленные и печальные».

Потом он слез с дивана, подошел к Сонечке и сказал:

– Пусть не считается, что она украла. Хорошо? Пусть считается, что я ей подарил. И пусть она приходит.

Лида пришла.

Сонечка слышала, как Игорь сказал ей, оставшись с нею вдвоем:

– Хочешь – бери мои игрушки. Какие хочешь. Хоть все. Мне они не нужны.

Мальчик, мальчик...

В шестилетнем возрасте он украл у матери деньги.

У него были красивые локоны, бледно-золотые. Сонечка берегла их и не стригла. Он просил остричь, потому что его во дворе дразнили девчонкой. А Сонечка в материнском тщеславии и эгоизме говорила:

– Не обращай внимания, они ничего не понимают. Еще год походи так, только год!

И вот он исчез со двора и явился наголо остриженный и благоухающий цветочным одеколоном.

– Где это тебе сделали?! – спросила Сонечка, глядя во все глаза на его сразу поглубевшее и подурневшее лицо.

Она чуть не плакала.

– В парикмахерской, – ответил он. – Я дал им три рубля, и они меня всего полили духами.

– Где же ты взял три рубля?

– Я украл у тебя из сумочки, – ответил он.

– Зачем же ты украл? – спросила она, ужасаясь. – Ты должен был попросить, я бы тебе дала.

Он покачал головой:

– Неправда. Не дала.

И она его больше не упрекала, она гладила его круглую плюшевую мальчишескую голову и оплакивала его кудри, и целовала, целовала – безрассудная, без памяти любящая мать...

В школе его так же баловала молоденькая учительница. Он хвастал:

– Все сидят и решают задачу, а я хожу по классу и смотрю, кто как решает.

– А сам не решаешь?

– Я раньше решил.

– Как же учительница позволяет тебе гулять по классу?

– Потому что она меня любит, – отвечал он.

Как случилось, что сын стал уходить из его сердца?

С некоторых пор доктор стал замечать, что его раздражает это безумное баловство, эта атмосфера обожания, которой окружен в доме Игорь.

Сонечка, придя с работы, сидит до трех часов ночи и чертит Игорю чертежи, потому что ему лень, а завтра надо сдавать. Безобразие.

Неслыханное дело: мальчик ходит в школу, когда ему хочется. А чаще ему не хочется. Он приходит с катка или кинематографа в двенадцатом часу, утром ему трудно подняться рано... И мать – какая мерзость! – пишет в школу записки, что у сына болела голова.

Кого она хочет сделать из Игоря? Принца? Босняка?

Ему было обидно за Лялю. Девочка отлично учится, ласковая, веселая, прекрасный характер. А на ее долю не приходится и половины той любви, какую пользуется Игорь.

Ляля встречает отца в передней, кричит на всю квартиру: «Папа пришел!» – и воркует, и ласкается. А Игорь выйдет к обеду – мрачный, лохматый, за столом сидит развалившись, на замечания отвечает грубо...

А Сонечка все замечания пропускает мимо ушей.

Ссориться с Сонечкой он не мог. Сонечка есть Сонечка. Это святыня, ее невозможно оскорбить. В Игоре его все раздражало. Как он сидит! Как отвечает матери! Какой он неласковый, холодный, надменный какой-то...

Один раз доктор сорвался в присутствии Игоря.

К обеду была вареная говядина. Ляля любит мозговую кость. И Игорь любит мозговую кость. И всегда почему-то эта кость доставалась Игорю. И на этот раз досталась ему.

– А нельзя ли, – сказал доктор негромко, – дать сегодня, в виде исключения, мозговую кость Ляле?

Сонечка сделала вид, что не слышала, Ляля сказала весело (милая девочка): «Ну что ты, папа! Пусть Игорек ест, я уже большая!» Игорь поднял глаза от тарелки и задумчиво, с циничным (да, да, циничным!) любопытством посмотрел отцу в лицо... Потом он спокойно принялся выковыривать мозг из кости. Доктор сидел красный и удрученный...

С этого дня Игорь стал его избегать. Стал избегать отца; да, очевидно, он сделал из этого инцидента какие-то свои выводы. Ведь мальчику всего пятнадцать лет... И доктор не пришел к нему, не объяснился. Боже мой, боже мой. Как глупо, мелко, нелепо. Какое ужасное недоумение...

В день его отъезда на вокзале – теперь доктор это вспомнил – Игорь, стоявший сначала поодаль, подошел вдруг близко и стал рядом. А когда попрощались, Игорь нагнулся к нему,

вплотную взглянул в его лицо и сказал сухо, твердо: «До свиданья, папа». И глаза у него были новые, резко пронзительные глаза... Это было прощанье? Прощенье? Примиренье? Что это было?.. Вот тогда он должен был прижать к себе Игоря и сказать: «Игорек, мальчик мой, все, что было между нами, – все зачеркнуто навсегда, а вот перед нами чистая страница, и мы ее будем заполнять вместе, ты и я...»

– Игорек, все, что между нами было, – ложь, а то, что сейчас, – настоящая правда, и мы вместе перед этой правдой, я и ты...

Глава четвертая Юлия Дмитриевна

– Сестра Смирнова забыла вложить мадрен! – сказала Юлия Дмитриевна старшей сестре Фаине и многозначительно сжала тонкие губы.

Фаина была занята своими мыслями и своим делом – она перед дверным зеркалом накручивала себе на голову тюрбан из марли. Она невнимательно взглянула на шприц, который торжественно, как улику, показывала ей Юлия Дмитриевна.

– А зачем вы ей давали шприц?

– Она делала укол монтеру. У него ужасные боли – геморрой. Доктор Супругов велел впрыснуть пантопон.

Фаина поморщилась: она питала отвращение к безобразным болезням. Всего два дня назад она подумала, что монтер Низвецкий – довольно интересный молодой человек. И вдруг – здравствуйте: геморрой. Низвецкий перестал существовать для Фаины.

– Этот поезд – прямо собрание каких-то стариков и калек, – сказала Фаина.

Но Юлия Дмитриевна развивала свою тему:

– Если сестра забывает вложить мадрен в иглу, из нее никогда не будет толку, я вас уверяю.

Фаина достроила свой головной убор, сделала сама себе томные глаза и повернулась к Юлии Дмитриевне. И, как всегда, ужаснулась безобразию хирургической сестры. До чего дурна, бедняжка!

– Вы слишком переживаете всякие пустяки, – сказала Фаина ласково. – Поберегите нервы, нам много тяжелого предстоит.

Юлия Дмитриевна подняла брови. Собственно, бровей не было: были две припухшие красные дуги, поросшие чем-то похожим на щетинку зубной щетки.

– Это не пустяки. Разве вы не знаете, что без мадрена игла может заржаветь?

– Я знаю! – отвечала Фаина в порыве горячего женского сострадания. – Но вы не переживайте, голубчик. Честное слово, не стоит.

Зубные щетки полезли еще выше.

– А кто же будет переживать? Я должна переживать!

«Ненормальная», – подумала Фаина. Порыв прошел, ей стало скучно.

– Я вам буду обязана, Фаина Васильевна, если вы со своей стороны сделаете замечание Смирновой. Если так будет продолжаться, мы не сможем доверить ей ни одного предмета из перевязочной.

– Хорошо, я скажу ей, – уже с раздражением ответила Фаина и вышла.

«Пошла показывать себя в тюрбане», – безошибочно определила Юлия Дмитриевна.

Юлия Дмитриевна осталась одна. Она с удовольствием оглядела свое маленькое сверкающее царство. Все есть, и все на месте. Вот здесь – инструменты для костных операций, здесь – для трахеотомии. В стенном шкафу – стерильные халаты. В биксах – стерильные салфетки. Немножко тесно: втроем и то повернуться трудно, зато все под рукой. Полное удовлетворение было в душе Юлии Дмитриевны.

И какая предусмотрительность. По положению, операции в поезде не производятся, только перевязки. И все-таки, смотрите, как подобран инструментарий, ничто не забыто, можно сделать в случае нужды любую операцию, вплоть до трепанации черепа. Да, здесь можно работать. Здесь будет приятно работать! И комиссар – достойный товарищ, и врачи такие симпатичные, особенно Супругов.

В Супругова Юлия Дмитриевна была влюблена.

Она всегда была влюблена в кого-нибудь. Попадая в новую обстановку, она осматривалась и намечала себе: «Вот в этого я влюблюсь». И сейчас же влюблялась.

В городской больнице она была влюблена в профессора Скудереvского, с которым работала четырнадцать лет. На глазах у нее он состарился, получил два ордена, начал и закончил большой труд об удалении раковых образований, заболел бруцеллезом и вылечился от него – она все его любила.

Раза три или четыре она изменила профессору ради молодых ассистентов. Но старое чувство брало верх, и она, браня себя за ветреность, возвращалась к нему.

Он ни о чем этом не подозревал. Ассистенты тоже. Никто не подозревал. Никто не считал Юлию Дмитриевну женщиной. Профессор Скудереvский остолбенел бы, если бы узнал, что она влюблена в него. С нею никто никогда не заговаривал на интимные темы.

Только однажды профессор сказал ей:

– Хорошо, что вы не замужем.

(Ему никто об этом не сообщал – это было ясно само собою.) А у нее замерло сердце.

(Хотя она знала, что он женат, недавно праздновал серебряную свадьбу и имеет внуков.)

– Почему? – спросила она.

– Я не мог бы работать с замужней сестрой, – ответил он. – Хирургическая сестра должна отдавать себя работе целиком.

В этот вечер она медленно шла домой по темному пустынному бульвару и повторяла про себя этот короткий разговор. Она думала, что ради страдающего человечества она пожертвовала личной жизнью. Нет, не так: ради него, профессора Скудереvского, она отказалась от супружества и материнства. Так получалось печальнее и слаще. Ради него. Ради любви к нему...

На финском фронте она была влюблена в бригадного врача. Но финская кампания была короткая, и любовь пролетела как сон.

В санитарном поезде выбор Юлии Дмитриевны некоторое время колебался между Даниловым, начальником и Супруговым.

Данилов был забракован первым.

«Недостаточно тонок», – решила Юлия Дмитриевна.

У начальника были черты, роднившие его с незабвенным профессором Скудереvским: седина, мешочки под глазами, приятный голос.

«Нет, – подумала Юлия Дмитриевна, – в военное время с начальником не должно быть никаких других отношений, кроме служебных».

Оставался Супругов.

Это не мешало ничему. Она неутомимо работала, крепко спала и ела за четверых.

Если бы ей сказали: хочешь, у тебя будет муж, красивый и любящий, только за это откажись от своей работы, она подняла бы брови и сказала:

– Нет.

Работа была ее жизнью, ее душой, ее руками. Работа дала ей то место в жизни, в котором отказала ей природа. Быть без работы – значит потерять руки и душу, значит не жить.

Она очень хорошо понимала, что любовь не для нее. Что она покажется жалкой и смешной, если узнают о ее чувствах. Она была горда. Она не выдавала себя. Все эти маленькие

женские иллюзии были спрятаны далеко-далеко, за семью замками, в самом укромном уголке ее очень здорового сердца.

Родители Юлии Дмитриевны были обыкновенные средние люди с обыкновенной средней наружностью. Непонятно, каким образом оба их сына вышли совершенными красавцами, а дочь Юленька, единственная и долгожданная, – совершенным уродом. Мать сначала горевала и молилась Богу, чтобы убавил лучше красоты сыновьям, а прибавил обделенной Юленьке. Потом привыкла. Потом, с годами, стала даже находить, что Юленька ничего себе. Отец брал семейный альбом и изучал лица родственников, близких и дальних, ища, кто мог передать Юлии такие удручающие черты. В конце концов нашел. Виновником беды оказался прадед – грек, нижегородский бакалейщик.

– Я его помню, – говорил отец, – его возили в кресле, и он все пасьянсы раскладывал. Ему на колени клали поднос, и он на нем раскладывал пасьянсы. Сто четыре года прожил. Красавец был старик.

– Неужели красавец? – спрашивала мать. – И Юленька на него похожа?

– Представь, похожа!

Мать задумчиво качала головой:

– Я не знала, что в ней есть греческая кровь.

Греческая кровь сообщала семейному горю некоторую экзотичность и таинственность. Да, Юлия некрасива, но что делать – греческая кровь!

К сожалению, не подойдешь ведь к каждому мужчине и не шепнешь ему, в чем дело. А мужчины были очень немилосердны к бедной Юленьке. Хотя бы один когда-нибудь чуть-чуть поухаживал за нею. Они чересчур требовательны. Они не понимают, какое сокровище эта девушка.

Вслух, понятно, ни о чем таком не говорилось. Семья считала себя интеллигентной. Отец был фельдшером. Он любил бранить молодых врачей. По его словам, больные доверяли исключительно ему, фельдшеру. Действительно, каждый вечер к нему в дом стучались с черного хода какие-то бабы, и он выносил им порошки.

Сыновья тоже пошли по врачебной части: один был фармацевтом, другой – ветеринарным фельдшером. Оба были прекрасны, как эллинские боги. Получить высшее образование обоим помешал чрезмерный успех у женщин. С годами они присмирели, женились на некрасивых и ревнивых женах, нарожали детей, жалели о безумно растроченной юности и завидовали отцу, имеющему верную частную практику с черного хода.

Во всем семействе только мать не имела отношения к медицине. Но и она научилась лечить. Если пациенты приходили в отсутствие мужа, она спрашивала: «А что у вас болит?» – и отпускала, в зависимости от симптомов, салол с белладонной или пирамидон.

Юлия Дмитриевна работала хирургической сестрой двадцать два года.

К семье она относилась свысока. Частную практику отца она презирала. Старшие братья, многодетные и непутевые, чувствовали себя перед нею мальчиками.

У них были слабости; они наделали много ошибок; о многих предметах у них до седых волос не было точного и определенного суждения.

У Юлии Дмитриевны не было никаких слабостей (ведь те, что под замком, не в счет!), она не сделала за всю жизнь ни одной ошибки и о каждом предмете имела твердое, сложившееся мнение.

Семья признавала все это и склонялась перед нею.

Мать вела хозяйство. В ее руках были деньги, ключи, власть над кастрюлями и бельем. Отец занимал за столом председательское место, он был глава, на дверях висела фарфоровая дощечка с его именем. Но настоящей хозяйкой в доме была Юленька. Потому что все, что она говорила и делала, было правильно и добродетельно. А в этой семье, где за каждым водились грешки, искренне чтили добродетель.

И в больнице, в операционной, была хозяйкой Юлия Дмитриевна, а вовсе не профессор Скудереvский. Весь персонал это понимал и боялся движения ее бровей куда больше, чем яростных вспышек профессора. Когда однажды Юлия Дмитриевна заболела гриппом, профессор отказался делать сложные операции, пока она не выздоровеет. Это еще больше укрепило персонал в мыслях, что Юлия-то Дмитриевна, может, и обойдется без профессора, но уж профессору без Юлии Дмитриевны не обойтись.

Дверь перевязочной отворилась резко, рывком. Вошел Супругов.

– Мы, кажется, подъезжаем, – сказал он. Глаза его блуждали.

Поезд шел. В окне было все то же, что и раньше, – леса и луга. Солнце спускалось к закату, верхушки леса были пламенно освещены, тень вагона бежала по некошеному откосу.

– До Пскова шестьдесят километров, – сказал Супругов. – Вы обратили внимание, что у нас с утра не было ни одной остановки?

Он обращался к ней потому, что только в ее глазах он видел человеческое внимание и сердечность. Все остальные, словно сговорившись, третировали его. Правда, Фаина была к нему благосклонна, но это было женское кокетство, и больше ничего. Его и прежде не волновали женщины, а сейчас они ему стали просто противны.

– Нас везут прямо под бомбы, – сказал он.

– Мне об этом ничего не известно, – сказала Юлия Дмитриевна холодноvато.

– Смотрите на эти деревья, – сказал он. – Может быть, мы их видим в последний раз.

Глаза его наполнились слезами. Юлия Дмитриевна вздохнула. У нее не было страха перед бомбами. В финскую кампанию она была фронтовой сестрой. Ей было приятно, что он стоит рядом и разговаривает с нею. Вдох ее был любовным.

– Смотрите, смотрите! – закричал Супругов.

Лес расступился, между его темными крыльями в пыльном облаке открылась дорога. На дороге было тесно: шли и шли войска, медленно двигались орудия. Сплошным потоком шли грузовые машины, укрытые брезентом. По обочине дороги, обгоняя машины, проскакал всадник. Все это мелькнуло и скрылось за крылом леса.

– Отступают, – сказал Супругов. – А мы едем туда, откуда они отступают.

– Я не вижу отступления, – возразила Юлия Дмитриевна. – Откуда вы знаете, что это отступление? Это, может быть, обыкновенная переброска войск. Мы не можем знать такие вещи.

– Мы знаем, – повысил голос Супругов, – мы знаем, что нас бьют, об этом все сводки, а вы делаете вид, что все прекрасно. А спросить вас – для чего вы делаете такой вид?.. – вы и сами не скажете.

Отчего он повысил голос? Он никогда ни на кого не повышал голоса – не осмеливался. Откуда появилась в нем уверенность, что на нее он может повысить голос?

– Я вовсе не считаю, что все прекрасно, – отвечала она спокойно. – Я просто говорю, что это может быть переброска, а не отступление. Вы не докажете, что это отступление.

Рот у нее упрямо сжался. Она не желала идти на уступки. Даже во имя любви.

Черный дым потек вдоль окон. Солнце еще светило, а казалось, что спустился вечер. Стало трудно дышать.

– Пожаром пахнет, – сказал Данилов. Он стоял с доктором Беловым в коридоре штабного вагона. Проезжая дорога шла под полотном. По дороге густым потоком двигались орудия, грузовики, пехота. Теперь и Юлия Дмитриевна согласилась бы с тем, что это больше всего похоже на отступление. Войска шли в сторону, противоположную движению поезда.

– Оставляем Псков, – сказал Данилов тихонько.

Доктор смотрел, посапывая носом. Он думал: уехал ли Игорь из Пскова, успел ли уехать? Конечно, это фантастика – найти мальчишку среди такого скопища людей. А вдруг они все-таки встретятся? Вот Сонечка была бы рада. Он возьмет Игоря в поезд. Санитаром. Данилов

не даст ему баловаться. Через два-три месяца Игорь станет шелковым. И он, доктор, привезет его к Сонечке и скажет: «Вот что значит мужское воспитание...»

– Надо закрыть окна, – сказал доктор вслух, – а то мы закоптим белье. Фаина Васильевна, – обратился он к проходившей старшей сестре, – распорядитесь, чтобы закрыли окна.

Но оказалось, что санитары, испугавшись за белье, своей властью позакрывали окна во всех вагонах. А Фаина своей властью распорядилась открыть и накричала на санитаров.

– Глупо, – сказала Фаина, пожимая плечами. – Если закрыть, то от первого разрыва повывлетают все стекла.

Она проследовала дальше. Доктор и Данилов переглянулись.

– А вагон-аптека?.. – спросил доктор.

– Ничего не сделаешь, – сказал Данилов, бледнея от досады.

В вагоне-аптеке окна были закрыты герметически.

– Ах, витязь, то была Фаина! – сказал Соболев, начальник АХЧ, встретив Фаину в коридоре и уступая ей дорогу.

Фаина мазнула его юбкой по коленям и, не взглянув, прошла в свое купе. Она терпеть не могла Соболева, который держал ее на пшенной каше. У Фаины был сегодня особенно бравый и воинственный вид. Она тоже, как и Юлия Дмитриевна, хлебнула фронта в 1940 году. Она знала, что предстоит ей завтра, а может быть, даже сегодня ночью, а может быть, даже сейчас. У себя в купе она первым долгом взглянула в зеркало, потом достала и проверила сумку с медикаментами, потом села и стала отдыхать перед серьезным делом. Черт побери, она им всем покажет, что она умеет не только повязывать тюрбан! Она с гордостью посмотрела на свои руки. Руки были рабочие, сестринские, с короткими толстыми пальцами, потемневшими от йода и сулемы, с коротко обрезанными ногтями.

Соболев заглянул в купе:

– Ну как? Ужинать будем?

– А вы как думаете? – спросила Фаина. – Вы бы рады совсем нас не кормить.

– Рад бы, – сознался Соболев. – Очень большая морока с этой кормежкой. Нет, кроме шуток, удобно ли сейчас предлагать ужин? На пороге, так сказать, событий.

Она разозлилась:

– Идите к черту. Сейчас именно надо поплотнее накормить людей.

За плечом Соболева стал Данилов.

– Товарищ начальник АХЧ, – сказал он, – на ужин, помимо каши, отпустите мясные консервы, из расчета одна банка на четыре человека, и к чаю сгущенку в той же пропорции.

Соболев никаких событий не ждал, он просто дразнил Фаину. Теперь он растерянно взглянул на Данилова. Как, комиссар снимает запрет с мяса и сгущенки? События, несомненно, предстояли крупные. «Одна банка на четыре человека... – зашептал Соболев. – Шестьдесят семь делим на четыре, без остатка не делится, возьмем шестьдесят восемь...»

– Вот спасибо, товарищ комиссар, – сказала Фаина, когда испуганный Соболев ушел. – А то от этого пшена можно с ума сойти.

– Что же делать?.. – сказал Данилов. – Едем к фронту, кто его знает, что там удастся найти. Я вас хотел предупредить: вы с начальником поезда больше не разговаривайте так, как сейчас разговаривали, – не годится.

– А как я разговаривала? – удивилась Фаина.

– Вы сказали: глупо. Он дает вам приказ, а вы говорите: глупо.

– Господи боже! Разве я про него? Я про санитаров!

– Если даже вы не согласны с приказом...

Вагон вдруг весь сотрясся, со столика на пол слетела с грохотом кружка, дверь закрылась бы сама, если бы Данилов не придержал ее плечом.

– Ого! – сказала Фаина, и глаза ее заблестели. – Чувствуете?

Вагон сотрясся вторично, еще сильнее.

– Товарищ комиссар, – сказала Фаина, – я, конечно, извиняюсь. Я не новичок и обязана знать дисциплину. Но учтите, что я прежде всего женщина, и у меня тоже нервы...

Она прислушалась. Ей хотелось испытать еще один толчок. Война так война, в чем дело!

Поужинали.

Поезд полз медленно, еле-еле, иногда его ход совсем замирал. Проезжая дорога с отступающими войсками опять удалилась от полотна. Теперь из окон поезда были видны пригороды – избы, огороды и пастбища, обнесенные плетнями. Мелькнула какая-то дача – четыре опаленные белые стены без крыши, с пустыми глазницами окон. Какая-то деревня ярко пылала, и хлебное поле горело за нею – дымно, чадно. Земля здесь изрыта рвами. Людей почти не было видно.

Вагоны содрогались уже все время. И сквозь стук колес был явственно слышен непрерывный грохот близкой канонады.

Юлия Дмитриевна стояла в перевязочной, смотрела в окно. Вот, значит, земля, которая достанется врагу. Псков. Она бывала в Пскове. Там жили родственники, она у них гостила, когда была девочкой. С вокзала ехали на извозчике, трамвая не было еще, а сейчас, наверно, есть. Липы цвели, Псков пахнул медом. Был вечер, смуглое теплое небо и колокольный звон, медленный, величавый... Тетка говорила «Мы – псковские» с особенным выражением, будто на всей Руси лучше псковичан не было народу. Какой он сейчас, Псков? Такой, как эта дача без крыши? Как та пылающая деревня? Стоит, истерзанный бомбами, войска уходят, а он стоит и дымит, весь окопанный рвами...

Но Юлия Дмитриевна не увидела Пскова.

Поезд долго тащился по скрещивающимся путям, по обе стороны были товарные составы, грохотало в ушах, в окнах было темно от дыма. Иногда дым разрывался, тогда видно было небо, густо-розовое от зарева. Поезд стал. Юлия Дмитриевна позвала санитарку:

– Клава! Сходите в штаб, узнайте, где начальник и комиссар.

Ее беспокоило, что она стоит и ничего не делает, когда совершенно очевидно, что кругом есть люди, нуждающиеся в помощи.

– Нет ли каких-нибудь распоряжений.

– Сейчас, Юлия Дмитриевна. Я по улице пробегу, хорошо?

– Вы разве не знаете приказа, чтобы никто не покидал поезда? Идите по вагонам.

Клава ушла. Поезд, стоявший перед окном перевязочной, стал двигаться. Долго мелькали его plombированные вагоны – прочь от города – поезд ушел. За ним открылся другой состав, но все-таки посветлело, стали видны языки пожара: то один, то другой огненный язык взлетал в зловеще-розовое дымное небо... Санитарный поезд тоже стал двигаться ближе к станции; он вышел на свет пожаров и стоял одинокий, неприкрытый, стоял бесстрашно со своими красными крестами. Справа и слева бесновался огонь.

Вернулась Клава.

– Ну, что там у них?

– Юлия Дмитриевна, начальник велел, чтобы вы никуда не уходили. Комиссар пошел за распоряжениями в эвакупункт.

– Интересно, куда это я могу уйти, как он думает? – высокомерно любопытствовала Юлия Дмитриевна.

Поезд опять пошел. Он приблизился к вокзалу. Кругом горело. Никто не тушил. Бегали люди. Четыре человека стояли на краю перрона: трое штатских с чемоданчиками и четвертый Данилов.

– Хирурги! – сообщила Клава, по собственной инициативе сбегав в штаб. – Эвакупункт прислал нам трех хирургов – они у нас будут делать операции.

Хирурги! Сердце Юлии Дмитриевны загорелось от предвкушения настоящей работы. Терапия. Что она может?.. С точки зрения Юлии Дмитриевны, это не была врачебная наука, это было что-то вроде хиромантии. И вот настоящая врачебная наука прибыла в санитарный поезд в лице этих штатских людей с чемоданчиками. Операция в поезде, первичная обработка ран!

Она быстро прикинула: три хирурга – три стола. Один – в перевязочной, два поставим в обмывочной. Инструментов хватит; халатов, перчаток – хватит. Кто будет ассистировать? Во-первых, конечно, она – Юлия Дмитриевна. Затем – Супругов. Нет, у него слабые нервы. Военфельдшер Ольга Михайловна – во-вторых, и Фаина Васильевна – в-третьих.

– Клава! Замаскируйте окна в обмывочной. Дайте свет. Снимите эти оборки с ламп. Мойте стол сулемой.

Трах! От близкого разрыва вылетело окно в перевязочной. Осколки стекла посыпались в вагон.

Клава перекрестилась. Она никогда не крестилась раньше, а тут вдруг перекрестилась, сама не зная зачем.

Юлия Дмитриевна с презрением посмотрела на нее:

– Клава! Я сама вымою стол. Уберите стекла.

Настоящая работа начиналась.

Фаина была права: через полчаса в вагоне-аптеке не было ни одного стекла.

Санитарки убирали осколки. Им было страшно. Две девушки от страха плакали. Но еще больше было досадно, что немцы портят такой хороший вагон.

– Сколько я старалась! – тихо говорила Клава, собирая стекла в железный совок.

Толстая Ия не выдержала. Она нарушила запрет и сбежала с поезда. Воронка от бомбы за горящим вокзалом показалась ей самым надежным убежищем. Ее не хватились. Она пришла сама на другой день, черная от пыли, с комьями земли в волосах, с опаленными ресницами.

Данилов собрал санитарный отряд: сестры, санитары, бойцы. Пришел Низвецкий.

– Я с вами, – сказал он.

– А с освещением как будет? – спросил Данилов.

– Кравцов присмотрит. Он понимает. Теперь светло...

– Нет, сегодня природным освещением не обойдемся: у нас предстоят операции.

– Кравцов...

– Что же Кравцов. Кравцов – машинист, а монтер – вы. Придется остаться.

– Ну а уж я не останусь, как хотите, – сказала Фаина. – Я – фронтовая, полевая, меня ни бомба, ни снаряд не берут.

Данилов невольно улыбнулся ее бахвальству:

– Не могу, Фаина Васильевна: начальник намечает вас по части хирургии.

– Вот черт! – сказала Фаина. – До чего не везет! На тебе мою сумку, девочка, – сказала она Лене Огородниковой, которая стояла на перроне, заложив руки за спину, закинув мальчишескую голову. – Бери мою сумку, ты молодец – отчаянная.

– Ну, доктор, – сказал Данилов Супругову, – на нас смотрит вся Европа.

Супругов повис на поручнях и, казалось, не мог расстаться с ними... Он повернул к Данилову мертвое лицо. Хотел что-то сказать – и вдруг разорвалось близко на путях, угольной пылью засыпало и Данилова, и Супругова.

Супругов как бы понял что-то.

– Финита! – сказал он и сошел на землю.

Позже, разбираясь в своих тогдашних переживаниях, он определил их так: в тот момент он понял – так показалось ему, – что смерть неизбежна. Понял также – так показалось ему, – что она будет ужасна. И ему захотелось как можно скорее перешагнуть этот рубеж. Пускай скорей ничего не будет, ничего, ничего. Главное – страха пускай не будет. Покой, тишина,

безопасность... Для этого скорей, скорей – в самое опасное место. «Вот он я!» – кричало все в Супругове, когда он вышел на зловеще освещенный, развороченный снарядами перрон. «Вот он я, скорее кончайте со мной, я больше не могу бояться!»

Данилов взял его за руку. Супругов побежал за Даниловым, топая тяжелыми сапогами. Очень жарко было. Дым ел глаза... По переулку за вокзалом шел боец, волоча за собой винтовку. Кровавый след оставался за бойцом, и по этому следу, размазывая его, волочилась винтовка.

- Санитарный поезд далеко? – спросил боец. – Мне сказали – идти в санитарный поезд.
- Вон там, за будкой, увидишь, – отвечал Данилов. – Сам дойдешь или на носилки взять?
- Сам дойду, – отвечал боец. – Вам носилки пригодятся.

За углом лежал мальчик лет четырнадцати, он был в сознании, не стонал и смотрел на подходивших санитаров жгучими и строгими глазами.

– Носилки! – сказал Данилов, а Лена нагнулась и подняла мальчика, как маленького ребенка. Он вдруг задергался, закинул голову и потерял сознание.

– А ты не совайся вперед, когда не умеешь, – сказал Сухоедов со злостью. – Это тебе не в куклы играть. Ложи на носилки, чего глядишь?

Визгнуло, мяукнуло, разлетелось вблизи. Черное облако накрыло санитарный отряд.

Облако улеглось.

– Все целы? – спросил Данилов после молчания.

Все были целы, только черны и оглушены.

Черный Супругов дико улыбался.

– Несите малого к Юлии Дмитриевне, – сказал Данилов Сухоедову и Медведеву. – А мы – дальше! Потом догоните, а если не догоните, берите кого ни попало и – в поезд.

– Это было что? – спросил Супругов, когда они пошли дальше по улице. – Снаряд или мина?

– Мина. А что?

Супругов закашлялся и выплюнул черную слюну. Плечо его гимнастерки было разорвано.

– Эге! – сказал Данилов. – Вас зацепило осколком?

– Да? Где? Ах, тут? Это пустяк: я совсем не чувствую боли. Это именно зацепило. Это именно такой пустяк, что не стоит говорить.

Он был как пьяный. Его шатало от сознания собственной безумной отваги.

Доктор Белов ходил по поезду.

В пустых вагонах с открытыми окнами носились горячие сквозняки. Все было освещено дымным движущимся светом извне. Еще сегодня эти вагоны казались такими уютными...

В каждом вагоне санитарка и боец. Испуганные, неприкаянные.

Вагон команды пуст: все, кроме дежурных, ушли с Даниловым.

«Что-то я забыл, – думал доктор, идя по поезду. – Что-то я забыл...»

А что именно – он не мог вспомнить.

Как будто он всем распорядился. В вагоне-аптеке господствуют хирурги, им и карты в руки. За ранеными отряд послан. На Данилова положиться можно... Да, питание. Надо бы накормить людей ужином. А утром их надо накормить завтраком.

– Сестра Смирнова, пошлите кого-нибудь за начальником АХЧ.

Явился Соболев. Доктор взглянул на него с невольным мимолетным любопытством: считает или нет? Соболев не считал, он весь как-то съезжился и поник, как резиновый пузырь, из которого выпустили воздух.

– Вот что, – сказал доктор, – надо, знаете, приготовить ужин. На... – он подумал, – на сто двадцать человек, да. Хороший ужин.

– Ужин уже был, – пролепетал Соболев.

– Хороший, знаете, – повторил доктор, игнорируя возражение. – С учетом, знаете, раненых, которые к нам начинают поступать с сегодняшнего дня. Не сиротское ваше пшено, а сварите сладкую манную кашу, с вареньем, что ли, и чтобы кофе, и печенье, и масло – вы понимаете.

– Масло? – сомнамбулически переспросил Соболев.

– Да. По пятьдесят граммов масла.

– Пятьдесят, – сейчас же зашептал Соболев, возводя глаза к потолку, – пятьдесят множим на сто двадцать, получаем шесть тысяч – шесть кил...

«Что-то я забыл, – думал доктор, покончив с Соболевым. – Что-то я забыл, забыл...»

И вдруг он вспомнил.

Как же он ничего не сделал, чтобы найти Игоря? Очевидно, что-то можно было сделать. Позвонить по телефону. Написать заявление. Где-то похлопотать, кого-то попросить... Глупости, бред – куда звонить, где хлопотать, кого просить?... Нет, нет. Что-то можно было сделать, безусловно. Просто он не умеет. Сонечка сумела бы. Он недогадливый, всегда был недогадлив в таких вещах. Сонечка догадалась бы, потому что она любит Игоря. Настоящая любовь обо всем догадывается и все умеет. Он мало любит Игоря, он всегда любил его слишком мало, он ничемный, незаботливый, неумелый отец. Он любил больше Лялю. А чем она лучше? Завитушки на уме, оперетка и флирт. Только что ластиться мастерица... Она ластилась, и он давал ей деньги на оперетку, а Игорь попросил у него на что-то – он не дал, отказал. Несчастные тридцать рублей... Родной мальчик, прости. Бери все, бери мою старую, догорающую жизнь, только живи! Только найдись! Только не уходи так сразу, мальчик...

Когда Юлию Дмитриевну провожали из дому на военную службу, пришли оба брата с женами и детьми и вся родня. Пекли пироги, крутили мороженое, словно в именины. Юлия Дмитриевна сама сдвигала столы и накрывала их парадными белыми скатертями.

И вот она опять переставляла столы и застилала их белым полотном.

Пришел первый раненый – боец. Он поставил винтовку в угол и деловито огляделся.

– На который стол ложиться? – спросил он.

Сразу был виден толковый парень, бывалый.

– На какой хотите, – благосклонно отвечала ему Юлия Дмитриевна. – Только сперва разденьтесь. У вас что, нога? Клава! Разрежьте ему сапог.

Сама она стояла и держала халат, чтобы подать профессору, когда он кончит мыть руки. Белые, чуть одутловатые профессорские руки, такие же, как у профессора Скудерева. Окна в обмывочной были занавешены, над столами горели слепящие белые лампы. Никому не приходило в голову, как нелепо маскировать этот свет, когда весь поезд снаружи освещен пожарами.

Клава разрежала раненому сапог и в ужасе отвернулась.

– Ну чего ты, чего, чего? – сказал боец, морщась. – Не привыкла еще? Самое незначительное дело, если хочешь знать: даже кость не задета.

Юлия Дмитриевна облачила профессора в халат, налила на его малиновые ладони спирт и подала перчатки. Красивый старик, похожий на актера, недоуменно взглянул в ее довольное лицо...

Но через две минуты он понял ее. Она священнодействовала. Ее не надо было ни о чем просить, она не нуждалась ни в какой подсказке. Она сама подавала все, что нужно, раньше, чем он догадывался, что именно ему понадобится сейчас.

Боец, раненный в ногу, перенес перевязку стойко, без стонов, только шумно отдувался по временам: «Ффу...» Юлия Дмитриевна обожала таких пациентов. Она ненавидела крикунов. Она больше не слышала грохота, была поглощена своим делом. Ее беспокоила только жара. В вагоне было невыносимо душно, вентилятор почти не разрежал духоты. Она взяла пинцетом марлевую салфетку и вытерла пот с лица раненого.

– Спасибо, мамаша, – сказал боец.

Принесли мальчика с раздробленной голенью. Он был без сознания. У него была превосходная мускулатура: должно быть, играл в футбол, катался на велосипеде... С первого взгляда она увидела, что ногу придется ампутировать, увидела раньше, чем профессор.

– Проклятые негодяи, – сказала Фаина, глядя на мальчика.

Мальчик дернул подбородком и скрипнул зубами... Профессор спросил Юлию Дмитриевну:

– Вы можете дать наркоз?

Может ли она дать наркоз? Если говорить совсем откровенно, она может произвести и ампутацию. Она не берется за это только потому, что у нее нет формального права.

Она наложила на лицо мальчика маску... Когда раздался звук пилы, отделяющей кость, Фаина отошла к окну, отвернулась и заплакала.

Во время этой операции пришел доктор Белов.

– Я нужен? – спросил он.

Юлия Дмитриевна бросила на него грозный взгляд. Он робко подошел, вытянув шею, всматривался в раненого... На другом столе в обмывочной лежала женщина.

– Мальчика – в кригеровский одиннадцать, – сказал доктор сестре Смирновой, которая вошла за ним. – Женщину...

– Женщину не надо, – сказала Ольга Михайловна, военфельдшер, ассистировавшая у второго стола. Она сняла маску с лица женщины. Широкое, чуть скуластое славянское лицо. Соболиные брови. Прекрасный рот. На носу коричневая полоска от веснушек...

– Поздно, – сказал хирург.

Вдруг его бросило на другой стол, на мальчика, а мальчика бросило на пол, и упали все, кроме Юлии Дмитриевны, которая отлетела к двери перевязочной и удержалась, ухватившись за кованую вешалку для полотенца. Посыпалась со стен и потолка белая эмалевая краска. Кусок рамы откололся и ткнул Юлию Дмитриевну острым концом в висок.

– Это очень близко где-то, – сказал доктор Белов.

– Очень, – поднимая мальчика, подтвердила Юлия Дмитриевна. – Я думаю, что это прямое попадание в наш поезд.

Бойцы Кострицын и Медведев вбежали в вагон-аптеку с двух концов, крича:

– Четырнадцатый вагон горит! Где начальник?

Начальник был уже на полотне и со всех ног бежал к горящему вагону.

Горело жарко – сухое дерево, сухая краска. Какое счастье, что в вагоне еще не было раненых. Цел ли персонал? Цел, цел: вон Надя нагнулась, отплеивается... Кровь у нее на халате.

– Надя, ты что – ранена?

– Ой, что вы, товарищ начальник. Это я губу разбила об полку.

– А Кострицын жив?

– Жив, пошел за вами...

Вон он бежит, Кострицын. Ведро с водой в руке. Что тут сделаешь с ведром?... И Медведев за ним.

А вон с другой стороны идут Кравцов и Низвецкий. Идут, словно у них колени перебитые.

– Живей, ребята, живей! – закричал доктор.

Низвецкий побежал рысью. Кравцов не прибавил шагу, приближался, засунув руки в карманы штанов.

– Тащи, ребята, воду, – волновался доктор. – Зовите всех, будем заливать.

– Где вода-то? – спросил Кравцов небрежно.

– Вода? В баках вода. В паровозе вода...

– Это ерунда, а не вода, – сказал Кравцов и вдруг заорал: – Эй! Отцепляй вагон! Дураки, динама рядом, а они раззявили рот! Эй, милый, – сказал он, схватив за полу проходившего мимо смазчика, – помоги как специалист. Необходимо выключить вагончик.

– Еще чего! – сказал смазчик. – Сотни вагонов пропали, а я чепуху, такую-растакую, буду отцеплять.

– Необходимо, радость, – сказал Кравцов. – Тут раненные, тут – динама. Нет другого исхода, как отцепить.

– Матери вели отцеплять под бомбами, – сказал смазчик.

– А вот я тебе велю! – сказал Кравцов, выкатив глаза, и ударил смазчика по уху. Доктор оцепенел от неожиданности... Смазчик ударил Кравцова ногой в живот. Кравцов ударил смазчика по затылку. Смазчик еще раз выругался и полез отцеплять горящий вагон. Откуда-то явился кондуктор, запачканный землей; верно, лежал где-нибудь по соседству в воронке. Горящий вагон отвели подальше и стали заливать водой из паровоза.

А Юлия Дмитриевна стояла у стола и подавала профессору инструменты и салфетки. Готовила раненных к операции. Давала наркоз... Всю ночь не прекращался обстрел города, и всю ночь в поезд поступали раненные. Одних приносили на носилках, других подвозили на грузовиках, третьи приходили сами... К утру профессор не выдержал.

– Все, – сказал он и не развязал – разорвал завязки халата. – Не могу. Я уже пятые сутки...

Фаина повела его в штабной вагон – отдыхать. Кстати, сказала она Юлии Дмитриевне, она тоже немножко придет в себя и переоденется, ее уже тошнит от крови, а белье от пота все мокрое...

– Я тоже пас, – сказал другой хирург, маленький и черный, с лимонно-желтым лицом, и ушел. Ольга Михайловна прилегла тут же в обмывочной на диване. «На минуточку, на минуточку», – сказала она детским голосом и сейчас же уснула. Остался молодой хирург с белобрысым бобриком, нос – рулем, роста – выше Данилова.

– Ну? – спросил он, глядя на Юлию Дмитриевну.

– Ну! – ответила она одобрительно и перешла к его столу.

Они работали вдвоем, молча. Вагон трясся от канонады, а они работали и не думали о том, скоро ли кончится эта ночь, скоро ли утро, будет ли отдых... Работая, врач что-то насвистывал сквозь зубы, еле слышно, – что-то красивое, Юлии Дмитриевне понравилось...

Ольга Михайловна проснулась часа через два, вскочила и побежала будить отдыхающих. Первая вернулась Фаина, свежая, как роза, потом старый профессор.

– А вы всё бодрствуете! – виновато сказал он Юлии Дмитриевне, принимаясь мыть руки.

Она не ответила – она считала салфетки, которые молодой врач вынул из раны оперированного, только бровями показала Фаине, чтобы та подала профессору халат.

Все утро подвозили и подносили раненных. Койки заселялись. Соболь готовил завтрак на триста человек. Обед доктор Белов приказал готовить на пятьсот... Санитарки уже не относили ведра к воронке, а выплескивали кровь прямо на полотно.

В полдень Данилов, зайдя в штабной вагон, спросил начальника:

– Ну как? Довольно?

– Боюсь, что довольно, – отвечал доктор. – Уже даже в штабном полно. Кладем на пол, а за это, знаете, может здорово нагореть.

Они прошли по составу. В вагонах стало тесно, пахло аптекой и потом, летали мухи. Среди раненных было много легких. Они пришли сами и остались в поезде, чтобы иметь возможность выехать из города. По большей части это были мирные жители. Одна женщина, раненная в лопатку, привела с собой четверых детей; Фаина запихала их в свое купе. Все это было против правил и инструкций, но в эту ночь как-то забылись инструкции, помнилась только общая русская беда, из которой надо было вылезать общими усилиями.

Доктор – в который раз! – заглядывал на каждую койку: он все думал – вдруг Игорь очутится здесь. Но Игоря не было.

– Иван Егорыч, – сказал доктор, – вам бы лечь, голубчик, вы же всю ночь как грузчик работали, так, знаете, нельзя.

Сам доктор тоже не спал, бегал, распределял раненых, тушил пожар, и, кроме рюмки водки, которую ему дал Кравцов, у него во рту ничего не было. Но доктору казалось, что он один бездельничал, а эта злосчастная рюмка водки представлялась ему неслыханным преступлением против служебной и человеческой этики. Хоть бы Данилов не узнал об этой рюмке...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.